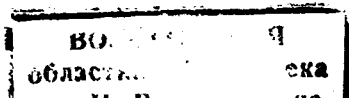


Р. А. БУДАГОВ

# ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ

1126155

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  
1989



лю

ББК 81—4  
Б91

*Рецензенты:*

доктор филологических наук В. С. Виноградов,  
кандидат филологических наук Ю. А. Карулин

*Печатается по постановлению  
Редакционно-издательского Совета  
Московского университета*

**Будагов Р. А.**

Б91 Толковые словари в национальной культуре народов. М.: Изд-во МГУ, 1989. — 151 с.  
ISBN 5—211—00391—8.

В книге сделана попытка показать, какую роль выполняют толковые словари в формировании национальной культуры разных народов. Толковые словари здесь рассматриваются не только как истолкователи слов, но и как источники разнообразных знаний. В работе анализируются трудности, возникающие при составлении словарей, и намечаются перспективы создания новых словарей. Автор опирается на материал широко известных словарей разных языков.

Для филологов, студентов, преподавателей русского языка, учителей школ и широкого круга читателей.

Б  $\frac{460200000-036}{077(02)-89}$  —173—89

ББК 81—4

ISBN 5—211—00391—8

© Издательство Московского университета, 1989

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительные замечания . . . . .	4
Из истории словарей . . . . .	6
Трудности создания хороших словарей . . . . .	12
Разграничение и взаимодействие разных словарей . . . . .	17
Объем словарей и объем знаний . . . . .	24
Словари и разные подходы к слову . . . . .	35
Определение слов в словарях . . . . .	41
Многозначность слова и словари . . . . .	63
Словари и история языка . . . . .	69
Словари, мотивировка слов и культура . . . . .	78
О некоторых знаменитых словарях . . . . .	91
Норма литературного языка и словари . . . . .	105
Словари и писатели . . . . .	120
Природа языка и словари . . . . .	134
Заключительные замечания . . . . .	143

### Приложение

Брагина А. А. Краткая справка о словарях русского языка . . . . .	149
---	-----

## ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Предлагаемая читателям работа преследует и научные и научно-популярные цели. Ее значение определяется самим ее названием. Каждый грамотный человек хочет иметь на своем рабочем столе или рядом на полке толковый словарь родного языка. Что же такое толковый словарь, какие слова он объясняет, как он формируется, с какими трудностями сталкиваются его создатели — эти и многие другие вопросы все еще недостаточно изучены. Поэтому и неудивительно, что они возникают вновь и вновь и в наше время<sup>1</sup>.

Я стремлюсь показать, какое место занимают толковые словари в общей культуре каждого народа. Дело в том, что хороший словарь — это своеобразное творчество, весьма существенное не только в филологическом, но и в широком общественном плане. Сама концепция словаря находится в прямой зависимости от концепции языка, от того, как понимает лексикограф природу языка и его важнейшие функции. Не говорю уже о глубоком взаимодействии лексикографии с лексикологией и семасиологией.

С общекультурной позиции толковые словари все еще мало анализировались. Здесь важны и опыт их создания в прошлом, и современные поиски их постоянного совершенствования.

---

<sup>1</sup> Хотя я сам и не являюсь автором какого-либо конкретного словаря, но мне приходилось много заниматься теорией и историей словарей в разных странах, лексикологией и семасиологией. В дальнейшем изложении некоторые повторы обусловлены тем, что, казалось бы, одна и та же проблема рассматривается в разных отношениях. Так, например, проблема полноты словаря анализируется и в связи с границами литературного языка, и в связи с диалектами, и в связи с влиянием языка писателей на тот или иной словарь и т. д. Повторяя то или иное положение, автор стремится не повторяться, а развивать его дальше.

Я был вынужден ограничиться лишь европейским опытом словарной работы, европейским материалом (славянские, романские и германские языки). Богатый материал восточных языков, в особенности таких, как китайский, японский и арабский, мне из прямых источников недоступен. Понимая неудобство подобного ограничения, я все же надеюсь, что и проанализированные здесь словари окажутся достаточно поучительными. Они заставляют задуматься над многими теоретическими и практическими вопросами современной лексикографии.

В советском языкознании немало сделано для разработки теории словарей, для создания разных словарей самых разных языков. И все же многие вопросы лексикографии до сих пор остаются либо вообще неисследованными, либо как бы «незамеченными», либо освещаются с разных методологических позиций.

Словари не могут изучаться абстрактно. Здесь как, впрочем, и во всех других областях филологии, теория не только должна опираться на практику, но в значительной степени и вырастать, выкристаллизовываться из практики. Лексикограф, как и всякий лингвист, должен быть вблизи изучаемого материала. Все это не только не уменьшает значения теории, но, напротив, укрепляет ее, делает ее более прочной, более убедительной.

В наше время во всем мире много спорят о соотношении новых и так называемых традиционных («старых») методов в науке о языке, в том числе и специально в лексикографии. Само по себе это вполне закономерно. Мы живем в эпоху научно-технической революции, которая предъявляет новые требования ко всем наукам без исключения. Но, предлагая ту или иную новую теорию, тот или иной новый метод изучения языка, необходимо показать и серьезно обосновать, чем новая теория и новый метод лучше старой теории и старого метода, в какой степени они помогают глубже понять природу такого сложного феномена, каким является язык. Если такое серьезное обоснование не дается, если новое только терминологически отличается от старого, то подобное новое не только не продвигает науку впе-

ред, но мешает ей, создает лишь видимость обновления.

Предполагать же, что новое всегда лучше старого только на том основании, что оно новое, — значит, не понимать сущности подлинного развития духовной культуры народа. Что же касается подлинно нового, нового без кавычек, то оно, во-первых, должно быть обосновано и, во-вторых, внимательно относиться ко всему, уже сделанному в науке раньше.

Все это, как увидим, относится и к словарям, к их теории, истории и, разумеется, к практике их создания.

### ИЗ ИСТОРИИ СЛОВАРЕЙ

Весьма знаменательно, с каким вниманием относился к словарям В. И. Ленин. 18 января 1920 года Владимир Ильич писал народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому: «Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, — ознакомиться с знаменитым словарем Даля.

Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел. Не пора ли создать словарь *настоящего* русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького...

Как бы Вы отнеслись к этой мысли?

Словарь классического русского языка?

Не делая шума, поговорите с знатоками, ежели не затруднит, и сообщите мне Ваше мнение»<sup>2</sup>.

Проходит всего несколько месяцев, и 5 мая того же 1920 года Владимир Ильич в письме к М. Н. Покровскому вновь возвращается к вопросу о словаре: «Мне случилось как-то беседовать с т. Луначарским о необходимости издания хорошего словаря русского языка. Не вроде Даля, а словарь для пользования (и учения) всех, словарь, так сказать, классического, современного русского языка (от Пушкина до Горького, что ли, примерно)... Будьте любезны проверить, делается ли, и черкнуть мне»<sup>3</sup>. Еще через год, 6 мая 1921 года, В. И. Ленин обращается к Е. А. Лит-

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 51. С. 121—122.

<sup>3</sup> Там же. Т. 51. С. 192.

кенсу: «...т. Литкенс! Забыл при свидании просить Вас проверить, как стоит дело с комиссией ученых, составляющих словарь (краткий) *современного* (от Пушкина до Горького) русского языка... Делается ли? Что именно? Узнайте и напишите точно»<sup>4</sup>.

В этих важнейших документах следует обратить особое внимание на следующее: уже в начале 1920 года, когда еще не была окончена гражданская война, В. И. Ленин ставит вопрос о создании нового словаря русского языка. Отдавая должное словарю Даля («великолепная вещь»), Владимир Ильич вместе с тем справедливо характеризует его как «словарь областнический» и устаревший. Теперь речь идет о «настоящем словаре» русского языка, который должен быть и классическим и современным одновременно («от Пушкина до Горького»). Словарь необходимо создать не только для пользования, но и для учения всех. В. И. Ленин тем самым ставит важнейший вопрос о таких словарях, которые должны быть не только справочниками, но и источниками наших общих знаний [«для пользования (и учения) всех»].

Как видим, Владимир Ильич прекрасно понимал общенациональное значение хороших словарей. Между тем в нашей повседневной работе с различными словарями мы больше обращаем внимание на их чисто филологические достоинства и недостатки, далеко не всегда учитывая, не всегда оценивая их же вклад в общую культуру того или иного народа (словари — как источник самых различных знаний).

В этом же общекультурном плане показательны суждения великих писателей.

«А право,— сообщал А. С. Пушкин П. А. Вяземскому в 1836 году,— не худо бы взяться за лексикон или хотя бы критику лексиконов»<sup>5</sup>. О необходимости создания «объяснительного словаря» русского языка для всех писал и Н. В. Гоголь. Он много лет сам собирал материалы для такого словаря. Им руководила «...любовь к русскому слову», которая жила в нем «с младенчества» и которой он всегда гордился. Работа над «объяснительным словарем» доставляла

<sup>4</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 52. С. 178.

<sup>5</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.; Л., 1949. Т. 10. С. 612.

Гоголю наслаждение, о чем он и сообщал своим читателям<sup>6</sup>.

А вот еще несколько суждений о словарях других выдающихся знатоков слова. Когда в 60-х годах минувшего столетия был опубликован во Франции большой словарь родного языка Э. Литтре, то Эмиль Золя оценил этот словарь как «вклад в историю французской цивилизации», а философ Эрнест Ренан стал хлопотать о присуждении автору словаря самой высокой национальной премии<sup>7</sup>. Позднее, обобщая подобные суждения, Анатолий Франс писал: «Толковый словарь — это целый мир в алфавитном порядке... Все книги как бы заключены в словаре... нужно только уметь извлечь их оттуда»<sup>8</sup>. И уже в наше время в стихотворении «Словарь» С. Маршак справедливо заметил:

Усердней с каждым днем гляжу в словарь,  
В его столбцах мерцают искры чувства...

Количество подобных оценок хороших словарей можно было бы легко увеличить. Казалось бы, «сухой» словарь в действительности должен являться одним из источников не только наших мыслей, но и наших же чувств. Надо только приучить себя «глядеть» в словарь с каждым днем все «усердней и усердней». Тогда и откроется перед вами «целый мир в алфавитном порядке».

Прилагательное *толковый* применительно к словарю было известно у нас еще в XVIII столетии, хотя на обложке словаря оно впервые появилось у В. И. Даля в его знаменитом четырехтомном «Толковом словаре живого великорусского языка», первое издание которого публиковалось в 1863—1866 годы. В предисловии к своему словарю Даль пояснял: «Словарь называется *толковым*, потому что он не только переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробности значения слов и понятий, им подчиненных. Слова живого великорусского языка

---

<sup>6</sup> Гоголь Н. В. Материалы для словаря русского языка // Поли. собр. соч. М.; Л., 1950. Т. IX. С. 442.

<sup>7</sup> См. об этом примеры, собранные в журнале: *Revista de filologie remanică și germanică*. București, 1959. N 1/2. P. 235—236.

<sup>8</sup> Франс А. Книги и люди. М.; Л., 1923. С. 68.



указывают на объем и направление всего труда»<sup>9</sup>. Здесь весьма важно отметить, что у Даля слова всегда выступают во взаимодействии с понятиями и предметами, обозначаемыми с помощью тех или иных слов («понятия подчинены словам», по выражению автора). Вместе с тем словарь не должен только переводить одно слово с помощью другого. Он обязан объяснять (толковать) значения слов во всех их «подробностях». Как увидим, эта проблема, поставленная уже Далем, позднее перерастет в современную проблему многозначности (полисемии) слова не только во всех его значениях, но, по возможности, и во всех оттенках подобных значений (у Даля «подробностях»). Вне соблюдения данных условий Даль не представлял себе толкового словаря.

Интересна и показательна первоначальная история словарей. Древние греки и римляне еще не знали словарей в собственном смысле этого слова, хотя они пространно комментировали различные тексты. Однако мысли, чтобы собрать «все слова языка» как бы в одно целое, тогда еще не возникало. Как правило, «толковались» лишь отдельные «трудные» слова и выражения<sup>10</sup>.

Положение со словарями изменилось в Европе примерно только в середине XVII столетия, когда стали появляться весьма разнообразные первые «академии знаний», «академии наук». Вот перед ними и возникла проблема: на каком языке «создавать науку», на каком языке писать? Латынь как почти универсальный в Европе язык науки еще твердо удерживала свои позиции, и все же возникал вопрос и о родном языке. Но как его «собрать»?

Таковы первые импульсы, обострившие внимание тогдашних академиков и писателей к вопросам родного языка. Чтобы писать на нем, необходимы словарь и грамматика. Казалось бы, самая элементарная мысль для того времени стала целым открытием! В наше время понятие о научных академиях прежде всего связывают с разработкой физико-мате-

<sup>9</sup> Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1863. Ч. I. С. 2. О самом термине *толковый* (толковый словарь) см. заметку Е. Э. Биржаковой в кн.: Современная русская лексикография. М.; Л., 1966. С. 94—95.

<sup>10</sup> Грот Я. К. Филологические разыскания. Спб., 1873. Т. I. С. 179.

матических и технических наук. В XVII—XVIII веках ситуация была совсем иной: чтобы «перейти» к этим наукам, надо было «для них» (а затем уже и «для всех») создать словарь данного языка и описать, «установить» его грамматику.

Так получилось, что многие первые европейские академии оказывались академиями прежде всего гуманитарных знаний. Такой, в частности, была «Академия отрубей» (*Accademia crusca*), созданная во Флоренции уже в 1582 году, само название которой показывает, что перед ее членами стояла прежде всего лингвистическая задача: «очистить» литературный язык от всего «ненужного», подобно тому как очищают, отделяют плевелы от пшеницы, отруби от муки. Та же задача была поставлена и перед французской академией, организованной кардиналом Ришелье в 1635 году: создать словарь родного языка и описать его грамматику. С аналогичной проблемой имела дело и испанская академия, организованная в 1712 году. И шведская академия, созданная по инициативе знаменитого натуралиста Карла Линнея в 1739 году, не могла не раздумывать над проблемой словаря, с помощью которого можно было бы объединить усилия ученых, излагающих свои мысли на родном языке<sup>11</sup>.

Несколько иначе сложилась ситуация в России, где не сразу возник вопрос о словаре. Однако уже в середине XVIII столетия, прежде всего под влиянием М. В. Ломоносова, автора «Российской грамматики» (изд. 1 — 1757 г.), проблема словаря стала актуальной. А опубликованный уже в 1789—1794 годы первый «Словарь Академии Российской» был высоко оценен многими известными его современниками<sup>12</sup>.

<sup>11</sup> Наряду с «лингвистическими академиями» в Европе стали формироваться и академии физико-математической и «природной» ориентации. О них см.: Копелевич Ю. Х. Возникновение научных академий. Середина XVII — середина XVIII века. Л., 1974.

<sup>12</sup> Кононов А. Н. Российская Академия (1783—1841). К 200-летию со времени учреждения // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1983. № 6. С. 502—510. Специально о «Словаре Академии Российской» см.: Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 162—188; Сорокин Ю. С. Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1949. Т. 1. С. 95—160.

Следует обратить внимание на весьма важное совпадение: наука (в самом широком смысле) и словари стали прямо сопряженными понятиями в самом процессе создания академий во многих странах. По мере того как наука стала переходить с латинского языка на язык родной и несмотря на то, что данный процесс растянулся на века, сопряжение этих понятий — науки и словарей — все более и более усиливалось и укреплялось. Вместе с тем надо было и «упорядочить» грамматику родного языка. Возникла проблема «защиты языка» во всех его ресурсах.

И все же именно словари оказывались на первом месте: если будут словари, то будет и «все остальное». Упорядочение языка тогда мыслилось как бы через словарь, с помощью словаря. Такое понимание было обусловлено господствующей тогда концепцией, согласно которой язык — это совокупность слов и только слов. Несмотря на действительно огромную роль слова в системе языка, подобное представление о языке (только совокупность слов) теперь уже, разумеется, устарело<sup>13</sup>.

В XVII—XVIII столетиях словари в Европе в известной мере стали отождествляться с суммой всех знаний той или иной эпохи. Понятия о различных типах словарей, в частности, и в особенности о различии между толковыми словарями и энциклопедиями в те столетия либо просто не существовало, либо представлялось весьма смутно. Даламбер в обширном введении к знаменитой многотомной французской энциклопедии (1751—1772) писал о ней и как об энциклопедии, и как о словаре. И это следовало из самого названия огромной публикации<sup>14</sup>.

Испанская академия издает в 1726—1739 годах так называемый «Словарь Авторитетов» («Diccionario de Autoridades»), во вступительных статьях к которому заверяет, что словарь содержит в себе «всю сумму знаний нашей эпохи», а слова разъясняются

---

<sup>13</sup> Попытка осветить вопрос о месте *слова* в системе языка сделана мною в статье «В защиту понятия *слово*» // Вопросы языкознания. 1983. № 1. С. 16—30.

<sup>14</sup> Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Paris, 1751—1772. Публикация состояла из 17-ти томов и 11-ти томов карт, схем, рисунков, всевозможных других приложений.

«в их подлинных и истинных значениях». И в этом случае слова отождествляются «со всеми знаниями»<sup>15</sup>. Между словами и реалиями, между словами и вещами (в широком смысле) разграничение тогда не только не проводилось, но теоретически еще не осознавалось. Вместе с тем в концепции авторов словарей той эпохи и их читателей подобное отождествление слов и знаний повышало общекультурное значение самих словарей.

Таковы были первые шаги в осмыслении большой проблемы — роли словарей в преднациональной и национальной культуре народов.

## ТРУДНОСТИ СОЗДАНИЯ ХОРОШИХ СЛОВАРЕЙ

Вопрос о том, как создать словарь, который отражал бы и вместе с тем выражал современное состояние того или иного языка, оказывается нелегким. Ведь каждый живой язык, на котором говорят миллионы людей, развивается быстро, причем больше всего как раз в сфере лексики. Это хорошо известно, но это же вызывает вопрос, как следует понимать прилагательное *современный* по отношению к словарю, который после опубликования уже не может «угнаться» за развитием лексики.

На этом основании западногерманский лингвист Е. Косериу предложил изгнать прилагательное *современный* из названий вновь выходящих словарей любого языка. Его аргументация: язык развивается не так, как развивается техника, промышленность или литература, поэтому вполне возможные словосочетания «современная техника», «современная литература» не допускают, по Косериу, аналогичного словосочетания со словарем («Словарь современного языка»). Новые слова, как правило, опираются на старые, сохраняется строгая преемственность между старым и новым, тогда как, например, в технике подобной преемственности может и не быть<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> Гущина Н. А. Словарь Авторитетов и его место в испанской лексикографии // Филологические науки. 1971. № 3. С. 63—65. История создания первого академического словаря в Румынии освещена в кн.: Pușcariu S. Dicționarul Academiei. București, 1926.

<sup>16</sup> Coseriu E. Das Phänomen der Sprache. Sonderdruck aus Heft 1/2 der Pädagogischen Provinz. Berlin, 1967. S. 9.

Е. Косериу и его единомышленники правы только в том, что языки действительно развиваются не так, как развивается техника. И дело здесь не только в том, что в первом случае всегда сохраняется преемственность, а во втором — она может отсутствовать (тезис Е. Косериу). Когда мы говорим о современном языке, как и о современном словаре того или иного конкретного языка, то мы как бы вырываем подобные понятия из потока лингвистического развития. Такое обобщение — разумное обобщение, без которого не может существовать никакая наука. К тому же подобное обобщение вырастает из самого материала и опирается на него же.

Представим себе, что вскоре после опубликования однотомного «Словаря современного русского языка» появятся десятки новых слов, естественно, еще не учтенных данным словарем. И что же? Наш словарь перестанет быть современным? Разумеется, нет. Он остается современным. Как это ни парадоксально, сама *современность* словаря обусловлена непрерывным развитием лексики, определенное состояние которой фиксирует вышедший словарь.

Другой вопрос: как наметить границы самого понятия *современный*? В ранее уже цитированном письме В. И. Ленина к А. В. Луначарскому справедливо отмечалось, что настоящий словарь русского языка должен заключать в себе лексику, употребляемую «теперь и классиками, от Пушкина до Горького». Здесь точно указаны границы самого понятия современности по отношению к языку. Эти границы, как общее правило, должны быть широкими именно в силу того, что лексика, несмотря на всю свою подвижность, развивается не так, как развивается техника. Лексика Пушкина во многом отличается от лексики Горького, но вместе с тем она современна. Вполне закономерно здесь стоит имя Пушкина, а не Державина, не Ломоносова, не Карамзина. С определенного исторического периода происходит перелом, если угодно, качественный скачок в развитии литературного языка. Не случайно мы, высоко ценя заслуги только что названных авторов в развитии литературного языка, говорим, однако, именно о

Пушкине как создателе современного литературного языка<sup>17</sup>.

Этот перелом в развитии русского литературного языка был в свое время ярко охарактеризован Н. В. Гоголем. Писатель считал, что до Пушкина русский литературный язык был скован и только Пушкин «...раздвинул ему границы... и показал все его пространство»<sup>18</sup>. Это во многом помогло Пушкину (нисколько не умаляя его поэтического гения) стать великим национальным поэтом. Далее мы увидим, что аналогичный перелом в развитии литературных языков наблюдался и во многих других европейских странах. Это существенно для определения границ «современности» при создании словарей.

И все же сам тезис «от Пушкина до Горького» осложняет понятие «современности». Недаром в своем обращении к А. В. Луначарскому В. И. Ленин писал о необходимости создания такого словаря, который бы состоял из лексики, употребляемой «теперь и классиками, от Пушкина до Горького».

Специфика таких понятий, как *современный* и *современность*, по отношению к языку в целом и особенно по отношению к лексикографии заключается как раз в том, что подобные понятия одновременно опираются и на данное время («теперь») и на близкое прошлое время («классики»). «Близкое прошлое время» в разных языках может растягиваться или, наоборот, сжиматься. У нас, как мы видели, это «от Пушкина» (но не от Державина, не от Ломоносова), у сербов — от реформатора литературного языка Вука Караджича (1787—1864), у французов — от Ф. Вольтера (1694—1778), а по другим данным — от Ж. Расина (1639—1699) и П. Корнеля (1606—1684) и т. д. Различия определяются здесь различием конкретных исторических условий развития тех или иных литературных языков. Общность везде есть известный предел «растяжки» самого понятия *современный*: подобно тому как специалисты-русисты обычно не включают в него Державина или Ломо-

<sup>17</sup> Широко известны на эту тему многие исследования, и прежде всего книги В. В. Виноградова (Язык Пушкина. М., 1937; Стиль Пушкина. М., 1941).

<sup>18</sup> Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Полн. собр. соч. М.; Л., 1949. Т. 8. С. 55.

носова, специалисты-романисты не включают в него Ф. Рабле или Ф. Вийона. Споры о начале подобной датировки нередко оказываются острыми и не прекращаются и в наше время.

Сказанное, разумеется, не означает, что между лексикой, здесь названной «теперь», и лексикой, здесь названной «классической», нет различий. Различий, естественно, много. И не только количественных (масса новых слов), но и качественных (иное осмысление многих старых слов, иные словосочетания и т. д.). В. В. Виноградов, в частности, считал, что «...от Пушкина до наших дней сменилось несколько (по крайней мере три) лексико-стилистических систем и соответствующих им литературно-языковых норм»<sup>19</sup>. Но даже не понимая отдельных слов и словосочетаний у Пушкина, мы воспринимаем его язык как современный, подобно тому как французы в отдельных эпизодах непонимания воспринимают язык Вольтера как язык современный, а немцы несколько не сомневаются в современности языка Гёте и Шиллера.

Историк польского литературного языка Ян Парандовский отмечает, что польские писатели эпохи романтизма проложили такой глубокий водораздел между языком до XIX века и языком первой половины этого же столетия, что современные литераторы теперь лишь редко обращаются к языку предшествующих эпох<sup>20</sup>. И здесь намечается граница между *современным* и уже *несовременным* языком.

Сторонники точных формулировок обычно возражают: восприятие — понятие субъективное, а потому на него будто бы нельзя ссылаться. Это неверно. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства вещей, восприятие охватывает тот или иной объект в его целостности<sup>21</sup>. Такая целостность вос-

---

<sup>19</sup> Виноградов В. В. Семнадцатомный академический словарь современного русского литературного языка и его значение для советского языкознания // Вопросы языкознания. 1966. № 6. С. 25.

<sup>20</sup> Парандовский Ян. Алхимия слова. М., 1972. С. 146. О переломе в истории польского литературного языка в начале прошлого века говорит и Т. Лер-Сплавинский (см. его «Польский язык». М., 1954. С. 366).

<sup>21</sup> Ананьев Б. Г. Психология чувственного познания. М., 1960. С. 25 и сл.

приятия должна тщательно изучаться не только в психологии, но и в лингвистике. Массовое восприятие языка — важный показатель его состояния в определенную эпоху.

Как видим, словарь современного языка (того или иного) вполне возможен и необходим. Вместе с тем он требует широкого истолкования самого понятия *современный*. Сосюрдовское разграничение синхронии и диахронии здесь оборачивается так: элементы диахронии не только вклиниваются в систему синхронии, но и раздвигают ее рамки, обогащая ее же возможности.

Всякому понятно, что после Пушкина возникло очень много новых слов, мимо которых, разумеется, не может пройти лексикограф. Но проблема осложняется качественной своей стороной: казалось бы, многие слова наших дней у Пушкина и у его современников употребляются не так или чуть-чуть не так, как в наше время и у наших современников<sup>22</sup>. Вот пока только один элементарный пример.

В знаменитой сцене у фонтана в «Борисе Годунове» Пушкина («Ночь. Сад. Фонтан») имеется такой эпизод: в ответ на угрозы Марины разоблачить самозванца он гордо ей отвечает:

Тень Грозного меня усыновила,  
Димитрием из гроба нарекла,  
Вокруг меня народы возмутила  
И в жертву мне Бориса обрекла.

Присмотримся к глаголу *возмутить*. В каком значении он употребляется поэтом? Все современные словари отмечают: «*возмутить* — привести в негодование, вызвать недовольство, гнев». И как устаревшее значение — «побудить к мятежу, восстанию».

---

<sup>22</sup> Об этих «чуть-чуть» не только в лексике, но и в грамматике прекрасно писал А. М. Пешковский: установив тонкое грамматическое различие между предложениями типа *Он убивается бандитом* и типа *Он закаляется кинжалом*, исследователь обобщил: «Все дело в этих почти и как бы, на которых зиждется вся грамматика» (см. его широко известную книгу «Русский синтаксис в научном освещении». М., 1938. Изд. 6. С. 132). В лексике подобные *чуть-чуть* играют не менее важную роль, чем в грамматике. И прежде всего всем этим естественные языки человечества отличаются от всевозможных искусственных построений (кодов), сооружаемых для тех или иных технических целей. Это всегда следует помнить, и об этом подробнее дальше.



Вот и оказывается, что *возмутить* у Пушкина и у его современников употребляется «чуть-чуть» не так, как в наши дни. В том же «Борисе Годунове»: «*возмутить* святую братию всякими соблазнами». Аналогично и существительное *возмущение* в значении «восстание». «В 1772 году произошло *возмущение* в их главном городке» («Капитанская дочка») <sup>23</sup>. Задача хорошего лексикографа заключается здесь в том, чтобы, не выходя за пределы современного словаря, непременно, однако, отметить семантическое движение внутри подобных слов, изменяются не только значения слов, но и внутреннее соотношение между разными значениями: живое значение в пределах того же «современного языка» может позднее стать «чуть-чуть» архаическим, а иногда и наоборот—архаическое значение получает распространение позднее. И подобные движения слов совершаются в пределах того же «современного языка». Так обычно осмыслиется понятие *современный* по отношению к большим хорошим словарям.

## РАЗГРАНИЧЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗНЫХ СЛОВАРЕЙ

Один из сложных вопросов лексикографии нашего времени — отбор слов и словосочетаний для словаря. Любому читателю хочется, чтобы приобретенный им словарь был бы «полным», охватывал бы все слова данного языка. Но специалистам хорошо известно, что это совершенно невозможно. Лексика больших языков человечества исчисляется многими сотнями тысяч слов. И их число постоянно растет. Между тем даже фундаментальные словари обычно разъясняют от ста до двухсот тысяч слов, сравнительно редко и ненамного превышая эту цифру.

Внешние причины подобного несоответствия очевидны: каждый словарь, каким бы подробным он ни был, все же всегда так или иначе ограничен в своем размере. Гораздо сложнее, однако, внутренняя причина подобного несоответствия: подвижность границ между лексикой литературного языка и лексикой его

<sup>23</sup> Словарь языка Пушкина. М., 1956. Т. 1. С. 329—330.

диалектов, между словами литературного языка и самыми разнообразными видами так называемого просторечия, нередко переходящими в жаргонную лексику. Наконец, особую проблему составляют профессиональные слова и термины, исчисляемые многими тысячами, а в наш век научно-технической революции и многими десятками тысяч лексических единиц.

Так обостряется проблема разграничения разных типов словарей не только в связи с неоднородностью лексической «массы» языка, но и в связи с осложнением взаимоотношений между вещами (в широком смысле) и словами: как вещи обозначаются и выражаются с помощью слов и словосочетаний?

В свое время Л. В. Щерба в яркой статье, посвященной теории лексикографии, наметил шесть видов противопоставлений в системе разных словарей<sup>24</sup>. Моя задача несколько иная: следует показать не только то, что разделяет разные типы словарей, но и то, что их сближает. Это сближение теоретически обусловлено тем, что все словари, как мы уже знаем, имеют дело со словами и вещами (в самом широком смысле), все они анализируют лексику языка, в которой отражается как мир реальных знаний человека, так и мир его самых разнообразных представлений. Но так или иначе все словари оказываются перед проблемой слов и вещей и тогда, когда те и другие действительно существуют, и даже тогда, когда либо вещи, либо слова живут лишь в воображении тех или иных людей. Все это существенно для обоснования самих принципов материалистической лексикографии.

С этих позиций кратко проанализирую сходство и несходство между толковыми и энциклопедическими словарями.

Включая в свой состав химические термины Периодической системы Менделеева, всякая хорошая и достаточно подробная энциклопедия не пропустит ни одного такого термина, тогда как толковый словарь, столь же подробный и хороший, включив, например, *перекись* и *окись*, пройдет мимо более специальных терминов, таких, скажем, как *ксенон* или *гафний*<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. С. 262—275.

<sup>25</sup> См. примеры из кн.: Ожегов С. И. Лексикология. Лексикография. Культура речи. М., 1974. С. 177.

В свою очередь, в энциклопедии мы не найдем таких слов, как существительное *вздох* или глагол *говорить*, наречие *довольно* или предлог *в*.

Различие здесь определяется тем, что энциклопедия опирается на положение, согласно которому повседневные слова данного языка уже известны читателю. Ее задача поэтому сводится к толкованию специальных слов (прежде всего терминов разных наук, собственных имен и фамилий, географических названий и т. д.). Толковый словарь, напротив, разъясняет прежде всего «повседневные слова», т. е. слова литературного языка и более специальные слова, но лишь в той мере, в какой они являются достоянием того же литературного языка (см. выше *перекись* и *окись*). Наречие *довольно* или предлог *в* не соотносятся с вещами так, как соотносятся с ними *перекись* или *окись*. Но не соотносясь с вещами, *довольно* и *в* соотносятся либо с понятиями (*довольно*), либо с грамматическими значениями (тот же предлог *в*).

В этом одно из важнейших отличий энциклопедий от словарей. Но в этом же и их сходство: и в том и в другом случае речь идет о сопряжении слов и понятий, о том, как понятия (какие бы они ни были — предметные, отвлеченные, грамматические и пр.) передаются и выражаются с помощью слов или словосочетаний. Здесь, как мы сейчас увидим, многое зависит от теоретической позиции лексикографа.

Существительное *река*, например, для энциклопедии — это прежде всего «естественный значительный и непрерывный водный поток». Затем, в зависимости от размера энциклопедии, читатели найдут в ней характеристику различных видов рек, их особенностей, вплоть до названий великих рек нашей Земли. Толковый же словарь, в целом соглашаясь примерно с аналогичным определением (здесь между ними общность), вслед за ним устремится, однако, в другую сторону. Он объяснит нам переносные осмысления *реки*, позволяющие понять словосочетания типа *река жизни*, *река времени*, *зеркальная река* и даже *слезы, льющиеся рекой* и многие другие. Здесь же будут даны и необходимые грамматические пояснения: категория рода, колебания в ударении при склонении существительного *река* (вин. пад. — *рэку* и *рекú* и другие), образования типа *рекой*, которые могут упот-

ребляться как наречия (*жизнь течет рекой*) и т. д. Всего этого мы обычно не найдем в энциклопедии. И все же нельзя не видеть и точек соприкосновения между двумя типами словарей: оба они имеют дело со взаимодействием слов и вещей, слов и понятий, хотя подходят к подобному взаимодействию с разных позиций и с разными целями, не во всем совпадающими.

Постараемся понять, почему отмеченная проблема имеет важное методологическое и теоретическое значение.

Дело в том, что в 60—80-х годах у многих наших лингвистов возникло неправомерное, на мой взгляд, убеждение, согласно которому в лексикографии и лексикологии должны изучаться слова, а не понятия, выражаемые с помощью слов. Такое убеждение, само по себе достаточно старое (на нем настаивал, в частности, Соссюр), проводилось под знаком «специфики языка», необходимости изучать язык как определенную замкнутую систему. Довольно, дескать, социологии, давайте изучать язык «как таковой». Именно так можно определить подобную доктрину<sup>26</sup>.

Впрочем, ее защищают чаще всего не так прямо, а более осторожно, с оговорками, я бы сказал «хитро». «В задачи традиционной семантики,— читаем мы у одного из сторонников ограничения словаря,— входит описание значений каждого имеющегося в языке слова. При этом обычно не проводится различие между тем, что в каждом языке принадлежит его собственной системе, а что — искусственным языкам наук и других терминологических областей... В этом отношении отличие современной семантики от предшествую-

---

<sup>26</sup> См. в этой связи знаменитую концовку «Курса» Соссюра: «Единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмотренный в самом себе и для себя» (Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. М., 1977. С. 268). Несмотря на то что о подлинности этого тезиса Соссюра до сих пор ведутся споры (как мог большой ученый так обесценить, так обесмыслить язык, в свое время превративший животное в человека), сторонников приведенного тезиса и в наше время довольно много. Вместе с тем парадоксальность современного положения в лингвистике в том, что за последние десять-пятнадцать лет во всем мире резко возрос интерес к самым различным проблемам социологии языка. Между тем в защиту тезиса Соссюра, хотя и без ссылки на него, совсем недавно выступил А. Мартине в журн.: *La linguistique*, Paris, 1987. N 1. P. 6.

щей состоит в том, что первая интересуется значениями далеко не всех слов»<sup>27</sup>.

На мой взгляд, такая постановка вопроса несостоятельна по многим причинам — теоретическим и техническим.

Технически представить себе словарь без таких слов, как, например, *физика, геология, конституция, электричество, теория, практика, лирика, премия* (умышленно привожу самые разнообразные слова) просто невозможно. Это будет, разумеется, не словарь, а какой-то огрызок словаря<sup>28</sup>. Еще важнее теоретические соображения: считать, что все термины не принадлежат «собственной системе языка», а относятся к «искусственным языкам наук», — это означает, во-первых, вынести огромную часть духовного богатства людей за пределы их собственных естественных языков и, во-вторых, рассматривать «язык науки» не как один из стилей единого литературного языка, а как нечто ему чуждое, как разнородное множество искусственных образований — сколько наук, столько же и языков у этих наук. Ни о каком единстве «языка науки» здесь нет и речи. Ни о каком понимании воздействия людей на их родной язык, на его ресурсы и возможности, на силы, помогающие языку сохранять свое единство, несмотря на различные тенденции к его же внутренней дифференциации, здесь не может быть и речи. Я уже не говорю о том, что интересоваться «не всеми словами», а только весьма ограниченной их частью, не может рассматриваться как достижение «новой семантики», а стремление «традиционной семантики» анализировать все слова — как ее недостаток, ее ущербность, ее несовершенство.

Источник подобной концепции определяется стремлением отделить понятия (в широком смысле) от слов, с помощью которых эти понятия и называются, и выражаются.

<sup>27</sup> Апресян Ю. Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. М., 1967. С. 19.

<sup>28</sup> Следует не забывать, что многие термины уже были в составе лексики древней России. См., в частности: Материалы для терминологического словаря древней России/Под ред. Б. Д. Грекова. М.; Л., 1937. Для более поздней эпохи: Кутин А. Л. Формирование терминологии физики в России. М.; Л., 1966.

В свете сказанного яснее вырисовывается и другой вопрос: толковые словари, преследуя иные цели сравнительно с теми, которые оказываются на первом месте у энциклопедий, имеют и общие с ними цели. Подобная общность определяется уже знакомой нам проблемой — постоянным взаимодействием слов и понятий.

Приведу несколько примеров. Основное значение существительного *дом* может быть одинаково определено и в словаре и в энциклопедии. Примерно так: здание, строение, предназначенное для жилья, для различных учреждений и предприятий<sup>29</sup>. Но дальше начнутся расхождения. Энциклопедия не будет интересоваться особыми словосочетаниями со словом *дом* (например, «*ввести к.-л. в дом, брать работу на дом*»), но зато энциклопедия должна пояснить, что такое *Дом культуры* или *Дом радиовещания*. Для толкового словаря — это прежде всего определенные словосочетания (акцент здесь падает на *слова*), тогда как для энциклопедии — это прежде всего *вещи*. Однако и в том и в другом случае речь идет о взаимодействии слов и вещей, хотя оно и представлено различно, и цели преследует различные.

Существительное *яблоко* в толковом словаре поясняется «плод яблони», а *яблоня* — «плодовое дерево семейства розоцветных». Особых затруднений не вызывает и такое фразеологическое словосочетание, как, например, *яблоку негде упасть* (о чрезмерной тесноте). Но вот, чтобы пояснить такое словосочетание, как, скажем, *яблоко раздора*, лексикограф обязан обратиться к чисто энциклопедическим пояснениям, из которых он узнает об источнике подобного фразеологизма: по древнегреческому мифу, богиня раздора Эрида, желая поссорить других богинь, бросила между ними яблоко с надписью «самой прекрасной богине». Оказывается, таким образом, что фразеологизм *яблоко раздора* требует энциклопедического толкования, каким бы кратким оно ни было.

Часто возражают: но это фразеологизм, а не слово. Такое возражение бьет мимо цели, ибо фразеоло-

---

<sup>29</sup> Словарь русского языка. В 4-х т. Изд. 2. Т. 1. М., Изд-во АН СССР, 1981. С. 425.

гия в целом — важнейшая часть языка, и прежде всего часть и свойство его же лексики. И если в наше время фразеологию стали выделять в особые словари, то это, разумеется, не в силу ее антилексичности, а по причине ее громадных размеров. И все же основные, наиболее типичные фразеологизмы, связанные с данным словом или с одним из его значений, как правило, совершенно закономерно помещаются в любой хороший толковый словарь<sup>30</sup>.

Вот и оказывается, что очень многие фразеологизмы, будучи прежде всего сферой лексики, требуют, однако, хотя бы краткого, но энциклопедического толкования. Так сближаются, а не только различаются толковые словари и энциклопедии. Основание то же: взаимодействие слов и понятий в разных типах словарей<sup>31</sup>.

Степень энциклопедичности, однако, при толковании того или иного фразеологизма бывает различной. Разумеется, лексикограф просто может предложить читателю запомнить, что фразеологизм *растекаться мыслию по древу* означает «говорить пространно, многословно». Но читатель останется в недоумении: он справедливо привык считать, что словарь на то и словарь, чтобы объяснить искомое. Между тем приведенный старый фразеологизм (из «Слова о полку Игореве») требует филологического истолкования. Одно из них, по Далю и Петебне, *мысль* — это диалектное обозначение «белки», а *мыс(л)ию* — творит. падеж. Как считают этимологи, речь идет здесь о белке на дереве, которая «растекается», перепрыгивая с ветки на ветку, с дерева на дерево. Возникает как будто бы чисто филологическое толкование (учет диалектных слов в истории языка), которое одновременно предстает, однако, и как толкование энциклопедическое. Но комментарий здесь в отличие от первого примера все же ока-

---

<sup>30</sup> Советская филология, в частности, располагает целой серией специальных, фундаментальных фразеологических словарей, в том числе английского, французского, немецкого, испанского, итальянского и некоторых других языков.

<sup>31</sup> Любопытно, что подобное сближение отражается и в названиях многих словарей, например: Советский Энциклопедический Словарь. М., 1980; Изд. 2. 1986; Ducrot O. et Todorov T. Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris, 1972) в одном названии и *словарь* и *энциклопедия*).

зывается не столько энциклопедическим, сколько филологическим. Однако и в подобных случаях обнаруживается стремление лексикографа разобраться во взаимоотношениях между вещами, понятиями и их названиями. А это, как мы уже знаем, основная проблема лексикографии.

## **ОБЪЕМ СЛОВАРЕЙ И ОБЪЕМ ЗНАНИЙ**

В настоящее время много спорят и у нас, и, особенно, за рубежом о том, какова природа языка: является ли язык чисто техническим и автоматическим средством общения или, будучи важнейшим средством общения, язык вместе с тем всегда и везде связан — непосредственно или через ряд промежуточных звеньев — со сложным духовным миром людей, говорящих на родном языке. Между тем для лингвистов, которые стремятся развивать материалистическое понимание языка «непосредственной действительности мысли», такой дилеммы не существует.

Будучи «непосредственной действительностью мысли», язык выражает, точнее стремится выражать все духовное богатство народа, от которого он и сам зависит, и его же расширяет, укрепляет, развивает. Все это нисколько не означает, что технические ресурсы языка должны отступать на второй план и мало интересовать исследователей. Наоборот. Чтобы понять духовные возможности каждого языка, необходимо уметь отлично разбираться во всем многообразии и во всей сложности технических ресурсов каждого языка.

Весь вопрос, однако, в том, с каких теоретических и методологических позиций ведется исследование технических ресурсов языка, в том числе и технических ресурсов лексики.

В середине нашего века хорошо известный английский философ и логик Бертран Рассел, развивавший идеалистические взгляды на природу и общество, писал: «Какова функция языка для сержанта воинской части? С одной стороны, для него существует язык слов команды..., а с другой — существует язык ругательств, предназначенных для приведения к по-



корности тех, кто не сделал ожидаемых движений»<sup>32</sup>. Получается так, что «языковой кругозор» английского сержанта ограничивается только такими полюсами. Разумеется, в подобных случаях трудно соотносить язык с духовным богатством народа.

К счастью, однако, для цивилизации «язык английского сержанта» никак не может быть отождествлен с языком английского народа, с языком Шекспира и Диккенса. То же, разумеется, следует сказать и о любом другом языке, на котором говорят многие люди и который располагает письменностью.

Показательно, что к аналогичному вопросу подходил и выдающийся американский ученый Э. Сепир. Он справедливо отмечал, что предложения типа *Сегодня я хорошо позавтракал* не требуют «разрешения от бремени какой-то сложной мысли». Они просто что-то утверждают или что-то отрицают. Но ведь люди могут прибегать и к выражению самых разнообразных мыслей, которые передаются тем же языком. «Словно бы динамо-машину, способную производить достаточно энергии для приведения в движение элеватора, использовали только для того, чтобы привести в действие электрический звонок. Эта аналогия по своей сути глубже, чем может показаться на первый взгляд»<sup>33</sup>.

Аналогия действительно удачна. Она обращает внимание на духовную мощь развитого языка, хотя люди вовсе не всегда нуждаются в подобной мощи. Важно, однако, что подобная мощь потенциально существует и что существует стремление людей — сознательное или чаще всего бессознательное — овладеть этой мощью и тем самым попытаться понять глубокое взаимодействие между языком и мышлением. В таких случаях язык и предстает как один из важнейших показателей уровня развития культуры данного народа.

Все сказанное имеет прямое отношение и к словарям. Их размер и отбор для них слов должны,

---

<sup>32</sup> Рассел Б. Человеческое познание. Его сфера и границы. М., 1957. С. 91.

<sup>33</sup> Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. М.; Л., 1934. С. 13 (динамо-машина — более современное название *электрический генератор*; книга Сепира в оригинале впервые была опубликована в 1921 г.).

разумеется, определяться не кругозором сержанта (даже независимо от его национальности) и не людьми, которым язык представляется лишь системой весьма ограниченного количества моделей, годных для «домашнего» общения, а исследователями, понимающими все огромные возможности языка, все неисчерпаемые ресурсы его лексики, все разнообразие его стилей.

Но как упорядочить все это многообразие и разнообразие и как представить их в словаре? Уже в XVII столетии Р. Декарт считал, что ученые люди должны уметь «сводить» все многообразие языка к ограниченному количеству «больших понятий», подобно тому как в арифметике бытует ограниченное количество знаков. Сам Декарт называл то цифру 17, то цифру 40 по отношению к таким «большим или основным» понятиям. И хотя позднее усилия Декарта в этом направлении поддерживали Лейбниц и другие мыслители, само колебание числа таких «основных понятий» показывает, насколько сложны и относительно критерии их выделения и обоснования<sup>34</sup>.

В самом деле. Как сгруппировать и классифицировать «вокруг 40 основных понятий» все богатство лексики языка? Достаточно напомнить, что даже современные однотомные словари таких языков, как русский или английский, китайский или японский, насчитывают примерно от 80 до 100 тысяч слов. Наш семнадцатитомный словарь (1948—1965) оперирует 130 тысячами слов, словарь Даля — 200 тысячами слов, а «Большой Оксфордский словарь» английского языка насчитывает уже свыше 400 тысяч слов.

К тому же подавляющее большинство слов естественных языков человечества в отличие от слов искусственно созданных языков (кодов) отличается многозначностью (полисемией), что в еще большей степени осложняет не только проблему размеров словарей, но и проблему группировки слов вокруг сравнительно небольшого числа «основных понятий».

И все же опыты Р. Декарта<sup>35</sup> и его последовате-

---

<sup>34</sup> История вопроса дана в кн.: Cassirer E. *Philosophie der symbolischen Formen*. Berlin, 1923. В. 1. Die Sprache. S. 68—72.

<sup>35</sup> Декарт Р. *Избранные произведения*. М., 1950. С. 448—450.

лей позднее привели к возникновению нового принципа построения словарей — от понятий и идей к способу их выражения и в языке и в построении словарей. Стали появляться, в особенности во второй половине прошлого столетия, всевозможные идеографические словари. Но уже в наше время принцип идеографического словаря некоторые лингвисты стремятся обновить и переосмыслить на основе так называемой теории «минимизации определений». Это делается, чтобы как-то сгруппировать огромную массу слов вокруг ограниченного количества понятий.

Вот как это истолковывается. Английское существительное *bachelor* 'холостяк', по мнению Р. О. Якобсона, может обозначать и «морского котика-самца, не имеющего брачной пары», и «рыцаря, служащего в войске другого рыцаря». По мнению исследователя, единым понятием для обоих слов будет: «не осуществляющий мужскую функцию»<sup>36</sup>. Если даже и согласиться с подобным толкованием, следует, однако, признать, что читатель, раскрыв словарь на этом слове и найдя там подобное определение, все же не поймет, что оно, собственно, означает, каково его основное значение, без выявления которого не может обойтись ни один современный словарь. Простая историческая справка прояснит, что «котик-самец» — исторически более позднее значение, чем *bachelor* 'холостяк'<sup>37</sup>. В современном же языке здесь образовались омонимы в результате распада былой полисемии: одно слово относится к человеку, другое — к животному.

«Минимизация» определения (*bachelor* 'не имеющий брачной пары'), по существу, не проясняет ни того, ни другого из двух омонимов в современном английском языке. Подобное определение явно нуждается в расчленении и в конкретизации. Интересное в чисто логическом плане (обобщение), оно оказывается явно недостаточным и даже неясным в плане лексикографическом.

---

<sup>36</sup> См. об этом: Филлмор Ч. Об организации семантической информации в словаре // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. XIV. С. 28.

<sup>37</sup> Skeat W. An Etymological Dictionary of the English Language. Oxford, 1963. P. 43.

Преимущество толкового словаря с его прежде всего алфавитным расположением слов сравнительно со словарем идеографическим как раз и заключается в том, что первый не нуждается в принципе «минимизации» определений, хотя, разумеется, очень нуждается в принципе ясности, точности и краткости определений. Но это разные принципы.

Английское short — это и 'короткий', и 'низкий', и 'неполный', но как бы на базе первого из данных значений (его необходимо определить в словаре) развиваются другие, и хотя в современном языке все перечисленные значения равноправны, но первое из них ('короткий') встречается в процессе употребления чаще, а поэтому и оказывается в современном языке основным<sup>38</sup>. Здесь-то от лексикографа и требуется «чувство языка» (помимо опоры на статистику), которым обязан владеть каждый серьезный лексикограф. Ссылаться же на то, что «чувство языка», как, впрочем, и всякое иное чувство, субъективно, означает нежелание и неумение разобраться в «человеческом факторе», факторе, играющем важнейшую роль в языке вообще и особенно в его лексике.

Определить же (и перевести) short так, чтобы подобное определение уже объясняло читателям, в каких случаях short может быть антонимом к long 'длинный', а в каких — к tall 'высокий', практически невозможно. Возникает определение, напоминающее «минимизацию» определения к существительному bachelor. Именно поэтому каждое из значений многозначного слова нуждается в особом определении, точнее — в дополнительном разъяснении. Подобные разъяснения обычно становятся тем проще и понятнее, чем точнее и яснее определено первое из значений полисемантического слова (зависимость называется здесь самая прямая).

Принцип «минимизации определения», возможный в чисто логическом плане, в словаре практически оказывается, как мы видим, малопригодным. Логическая сетка значений полисемантических слов далеко не всегда совпадает с сеткой реально бытующих в языке этих же слов и их разных значений.

---

<sup>38</sup> Большой англо-русский словарь/Под ред. И. Р. Гальперина. М., 1969. Т. 2.

В своих «Философских тетрадах» В. И. Ленин замечает: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности»<sup>39</sup>. Принцип «минимизации определения» не дает движения к практике, а поэтому едва ли может продвинуть вперед теорию лексикографии.

Разработка абстрактных категорий в лингвистике и, в частности, в лексикографии может, разумеется, проводиться. Но рано или поздно подобная разработка, чтобы не оказаться схоластической, должна показать свою силу и целесообразность на практике, в самом процессе создания словарей.

Известно, что большинство слов любого современного живого языка, на котором говорят миллионы людей, отличаются многозначностью (полисемией). Многозначными оказываются не только вполне самостоятельные слова, но и слова служебные, в чем легко убедиться, изучая семантику таких, например, предлогов в русском языке, как *в* или *с*, *на* или *при*. Лишь термины, если они строго продуманы, обычно стремятся быть однозначными.

Но многозначность сложна для лексикографии: как распределить разные значения одного и того же слова в словаре? Что считать основным значением каждого слова? Чтобы облегчить задачу, в последние два десятилетия была создана странная и, как мы сейчас увидим, несостоятельная теория, согласно которой лексическая полисемия будто бы порождена общей «болезнью языка», вызванной его «двусмысленностью». Стали выходить целые книги и бесчисленные статьи, посвященные мнимой «двусмысленности» языка<sup>40</sup>.

<sup>39</sup> Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 29. С. 152—153.

<sup>40</sup> См., например: Koosij J. Ambiguity in natural language. Amsterdam—London, 1971; Kess J. and Hoppe A. Ambiguity in psycholinguistics. Amsterdam, 1981; специальный номер журнала: Linguistics and Philosophy. 1982. No. 4. P. 517—525. К «теории» двусмысленности языка примыкает и так называемая «теория» непредсказуемости результатов развития языка, которую в самое последнее время стали пропагандировать некоторые исследователи. Между тем уже Н. Крушевский смело критиковал скептиков, бравших под сомнение огромные реальные и потенциальные возможности языка (см. его глубокий и блестящий «Очерк науки о языке» (Казань, 1883. С. 1). А в конце этой же книги читаем: «Развиваясь, язык вечно стремится к полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий» — с. 149).

Чтобы показать несостоятельность подобной теории, обратимся к ее аргументам. Ее сторонники обращают внимание на то, что в повседневной речи мы часто выражаемся неточно, например: *Человек средних лет* (неясно — сколько ему лет, 40 или 50?), *Поставьте, пожалуйста, стол в угол* (неясно — может ли стол поместиться в углу, большой ли он или маленький?)<sup>41</sup>. Но не надо быть глубоким психологом для понимания, что все подобные «неточности» не имеют ровно никакого отношения к «двусмысленности языка». Здесь все определяется особенностями нашей речи, которая обычно и не нуждается в математических формулировках: мы прекрасно понимаем, что означает «человек средних лет» и что *стол* можно поставить лишь в тот угол, где он может поместиться. Если же нам нужна точность, то мы скажем: *Ему сорок два года и пять месяцев; Этот стол займет весь дальний правый угол комнаты*. Когда же возникает необходимость в математической точности, для этого существуют утверждения и отрицания, плюсы и минусы, да и нет, можем — не можем, должны — не должны и т. д.

Вот уж поистине: сваливать с больной головы на здоровую. Да, собственно, и больной головы здесь нет. К счастью, наша речь, как и наш язык, располагает неисчислимыми возможностями выражать и передавать мысли и чувства самыми различными средствами, с самой различной модальностью (вспомним *почти* и *как бы* у Пешковского). В этом обнаруживается огромная сила языка, а не его мнимая двусмысленность. Именно этим прежде всего естественные языки человечества отличаются от всевозможных искусственных кодов.

Совсем другой вопрос: могучими ресурсами языка надо уметь владеть. Если же такого умения нет, то возникают двусмысленности, за которые должен отвечать, разумеется, не язык, а недостаточно грамотные люди. У нас все это прекрасно понимал и прекрасно изложил еще М. В. Ломоносов в предисловии к своей «Российской грамматике»: «И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему,

---

<sup>41</sup> Такие и им подобные примеры см. в кн.: Scheffler A. A philosophical inquiry into ambiguity. London, 1980.

но недовольному своему в нем искусству приписывать долженствуем»<sup>42</sup>.

Но как все же быть с многозначностью слова и как ее следует располагать в словаре?

Я уже отмечал, многозначность слова — закономерное явление, обусловленное самой природой лексики: ее способностью называть и выражать буквальное и фигуральное, общее и отдельное, вступать во взаимодействие с другими словами, находиться в состоянии постоянного развития, влияющего на более старые значения отдельных слов или группы слов<sup>43</sup>. В конце 20-х годов нашего столетия проблему полисемии по-своему интересно обосновал русский лингвист С. Карцевский в статье под несколько осложненным названием «Асимметрический дуализм языкового знака»<sup>44</sup>.

Оперируя вслед за Соссюром понятием знака, но иначе его интерпретируя, С. Карцевский справедливо утверждает, что в случае соотношения «один знак — одно значение» язык превратится в «простое собрание этикеток». Вместе с тем невозможно себе представить и прямо противоположное соотношение, в котором «подвижность знаков достигала бы такой степени, которая лишала бы их всякого устойчивого значения за пределами данной конкретной ситуации»<sup>45</sup>. В этом случае «сколько ситуаций — столько и значений». Но количество ситуаций предвидеть почти невозможно. Тем самым ничего не осталось бы и от значений: они растворились бы в ситуациях.

---

<sup>42</sup> Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Т. 7. С. 392. Что же касается таких слов и словосочетаний, как *вероятно, примерно, около, кажется, думается, по-видимому, может быть* и т. д., то и они необходимы в модальном плане. Но и они требуют умения с ними обращаться. Иное дело — слова-паразиты (*значит, так сказать* и др.), ничего не выражающие (признак малой культуры говорящего или пишущего)!

<sup>43</sup> См. об этом специальную главу «Закон многозначности слова» в моей книге «Человек и его язык». М., 1976. Изд. 2. С. 236—246. Что же касается основного значения слова, то Г. Пауль справедливо определил его как значение, наименее обусловленное контекстом (Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. С. 93 и сл.).

<sup>44</sup> Travaux du cercle linguistique de Prague. Prague, 1929. V. 1. P. 88.

<sup>45</sup> Ibidem. P. 92.

К счастью, для естественных языков человечества, а следовательно, и для людей подобного не происходит. Значение почти любого слова (кроме особых случаев единичной идиоматичности) стремится к большему или меньшему обобщению и тем самым к «возвышению» над каждой отдельной ситуацией.

Называя вялого человека *рыбой*, мы увеличиваем синонимический ряд (*флегматик, бесчувственный, холодный, невозмутимый, бесстрастный* — все в субстантивной функции), но, как правило, не порываем с тем основным значением, которое имеет *флегматик*, человек вялый, невозмутимость которого граничит с равнодушием. Внутри такого определения имеются оттенки (*холодный* по отношению к человеку — это не совсем то, что *бесчувственный* или тем более *невозмутимый*). Но подобные оттенки как бы внутри единого широкого значения и составляют огромную силу языка, его неисчерпаемые возможности<sup>46</sup>. И здесь все зависит от теоретической позиции исследователя, позволяющей ему видеть в подобных оттенках то мощь и силу языка, то его мнимую двусмысленность. В последнем случае язык предстает, выражаясь словами С. Карцевского, лишь как «собрание этикеток».

Любопытно, что уже в начале нашего века один из создателей «Словаря русских синонимов», отмечая оттенки значений внутри каждого синонимического ряда, справедливо утверждал, что именно оттенки «изоощряют ум и приучают говорящих к точному мышлению»<sup>47</sup>. Позднее об этом же писал и американский исследователь К. Бак в своем капитальном сравнительно-историческом «Словаре синонимов основных индоевропейских языков». И не случайно он имеет подзаголовок «Материалы к истории идей»<sup>48</sup>. Весьма показательно, что оба автора видят в оттен-

<sup>46</sup> См. об этом: Брагина А. А. Синонимы в литературном языке. М., 1986.

<sup>47</sup> Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Изд. 3. Пб., 1911. Сходная ситуация и в синтаксисе, см.: Александрова О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. М., 1984.

<sup>48</sup> Bock C. A Dictionary of selected synonyms in the principal indo-european languages. A contribution to the history of ideas. Chicago, 1965.



ках значения не признак «двузначности языка», а средство, приучающее людей к «точному мышлению». Иными словами, не слабость языка, а его поистине огромную силу, не «неточность языка», а его внутреннюю мощь и точность<sup>49</sup>.

И здесь проблема взаимодействия вещей (понятий) со словами оказывается в центре и лексикологии и лексикографии. Нельзя, однако, эту проблему упрощать. Она остается и в наше время сложной. Хорошо известно, что синонимический ряд, оставаясь в живых языках открытым, вместе с тем не может бесконечно расширяться. Нередко образуется такое состояние, когда одно или даже несколько значений полисемантического слова откалываются, образуя свой собственный синонимический ряд. Формируются омонимы. И хотя источники омонимов могут быть различными, следует обратить внимание на одну из вечных проблем лингвистики — на принцип взаимодействия между синонимией и омонимией в языках мира.

В только что цитированной статье С. Карцевского подобное взаимодействие сформулировано так: «Обозначающее (*le signifiant*) стремится иметь не только одну прямую функцию, но и другие, подобно тому как и обозначаемое (*le signifié*) стремится иметь разные возможности, чтобы передаваться в языке не одним только названием, а многими и разнообразными»<sup>50</sup>. В самом стремлении и обозначаемого и обозначающего обнаруживается более общее «стремление языка» — не быть простой «сеткой этикеток». Здесь же обнаруживается как основное отличие естественных языков от языков искусственных, так и сама природа первых, обусловленная функцией

<sup>49</sup> В этой связи нельзя не вспомнить мудрых замечаний знаменитого немецкого мыслителя XVIII столетия И. Винкельмана: «Способность чувствовать прекрасное дарована небом всем разумным существам, но в весьма различной степени... Некоторые обладают этой способностью в такой незначительной степени, что может показаться, будто, распределяя ее, природа их обделила» (Винкельман И. Избранные произведения и письма/Перевод А. Алявдиной. М., 1935. С. 218). Филологи, в том числе, разумеется, и лексикографы, не должны принадлежать к этой последней категории людей. В наше время, особенно в связи с восстановлением в правах генетики, об этом всегда следует помнить.

<sup>50</sup> Travaux du cercle linguistique de Prague. V. 1. P. 92.

выражения мыслей и чувств людей, многоаспектностью, а не линейностью языковой коммуникации.

Разумеется, распад каждого синонимического ряда в каждом языке должен анализироваться конкретно. Здесь не может быть универсальной модели. Важно, однако, отметить, что имеется и общий принцип: и значение и оттенок значения, как правило, обобщают отдельные случаи употребления слова и тем самым не распадаются на сумму поддающихся учету отдельных ситуаций. Такой принцип в известной мере облегчает работу лексикографа.

В современном русском языке существительное *вечер* многозначно: это не только определенное «время суток», но и «вечернее представление», «вечернее собрание». Но когда мы читаем на афише, что такой-то знаменитый актер дает два *вечера*, из которых один состоится *днем*, а второй — *вечером*, то на наших глазах происходит обособление одного из значений существительного *вечер*: вечер-спектакль, вечер-встреча, вечер-концерт уже независимо от *вечера* как определенной части суток (именно поэтому такой *вечер* может проходить и *днем*).

Хотя вопрос о том, происходит ли в подобных случаях распад полисемии и образование омонимов, сам по себе интересен, но лексикограф, даже не решая этого нелегкого вопроса, обязан, однако, указать на особое значение *вечера* в сочетаниях типа *вечер-встреча*. Такого рода сочетания не сводятся только к отдельным частным случаям, а уже обобщают многие случаи и тем самым делаются достоянием лексики, а следовательно, и словаря<sup>51</sup>.

В свое время Соссюр справедливо заметил, что во французском языке такие явные омонимы (разного происхождения), как *décrépí* 'облупившийся' (о штукатурке) и *décrépít* 'дряхлый' (о человеке), в употреблении обычно смешиваются: семантически

<sup>51</sup> Насколько анализируемые вопросы непросты, свидетельствует, в частности, острая дискуссия о природе омонимии, которая прошла у нас в 1960 году. Ее материалы опубликованы в кн.: Лексикографический сборник. М., 1960. Вып. IV. С. 36—92. См. также: Предисловие О. С. Ахмановой к ее «Словарю омонимов русского языка» (М., 1974). Анализ примеров на соотношение между полисемией и омонимией в разных языках проводится в моем «Введении в науку о языке» (Изд. 2. М., 1965. С. 46—66).

они соприкасаются<sup>52</sup>. Синхрония как бы говорит диахронии: я сближаю то, что семантически близко и что сами люди сближают. Мне нет дела до диахронии, до истории. Но подлинная культура языка не согласится с такой постановкой вопроса. Филологически образованные люди подобные слова различают и на письме их разграничивают. Вот и оказывается, что диахрония дает о себе знать в самой синхронии. А позиция лексикографа? Отметить и то и другое: и сближение, и даже смешение обоих слов в разговорной речи, и их разграничение в «высоком» стилевом уровне языка.

Итальянский филолог нашего времени, сам много работавший над различными словарями, Бруно Мильорини справедливо заметил, хотя и в несколько иной связи: «Как бы ни стремился лексикограф оставаться вполне объективным, сущность его труда с самого начала и до конца всегда отражает его личность и его взгляды»<sup>53</sup>. Речь идет здесь не только о взглядах чисто филологических, но и шире — о взглядах мировоззренческих.

К данному вопросу еще придется вернуться. Сейчас же напомним, что современные споры — особенно интенсивные в американской лингвистике — о том, является ли наука о языке информативной (informative science) или наукой о познании, познавательной наукой (cognitive science), представляются мне спорами чисто схоластическими. Обе особенности неразделимы в самом языке, а следовательно, и в науке о языке. Тот или иной исследователь, разумеется, может интересоваться одной из этих особенностей, но, на мой взгляд, он обязан понимать их глубокое взаимодействие в самом языке.

Все это весьма существенно и для лексикографа в процессе его работы над словарем.

## СЛОВАРИ И РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОВУ

В 1690 году французский литератор Антуан Фюртьер, работая над своим словарем и критикуя офи-

<sup>52</sup> Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 148.

<sup>53</sup> Migliorini V. Che cos'è un vocabolario? Firenze, 1961. P. 82.

циальных академических лексикографов, язвительно заметил: «Определение существительного *ухо* — орган слуха — стоило Академии не менее двухсот франков» (это определение обсуждалось на двух заседаниях) <sup>54</sup>. В приведенной шутке, однако, есть и доля правды. Дело в том — и это хорошо известно всем лексикографам, — что определение, казалось бы, самых простых слов нередко оказывается гораздо труднее, чем определение, например, терминов. Объяснить читателям, что такое *телескоп*, гораздо легче, чем истолковать в словаре *творчество* или *материю*. В свое время Л. Блумфилд считал, что удовлетворительно определить, что такое *ходить*, невозможно, тогда как пояснить, что означает *ходил* или *ходила*, легко: это формы прошедшего времени от глагола *ходить* <sup>55</sup>. Но даже не соглашаясь с чисто формальным принципом американского лингвиста, нельзя не признать, что «исходные формы» самых обычных слов труднее поддаются дефиниции, чем их же производные образования и термины.

С подобными трудностями связан и вопрос о том, как располагать и как группировать слова в словаре. Об этом много думали не только филологи, но и философы.

Уже Г. Лейбниц (1646—1716) размышлял на тему о том, как следует располагать слова в словаре — по алфавиту или «по природе самих слов», в соответствии «с классификацией вещей». Философ считал, что для «гражданского употребления» слова удобнее располагать по алфавиту, тогда как для «философского понимания» их целесообразно располагать «по идеям» <sup>56</sup>. Колебания Г. Лейбница здесь весьма характерны. Он показал столкновение двух принципов в лексикографии: принципа удобства (алфавит) и принципа, основанного на стремлении понять взаимодействие слов в связи с взаимодействием идей (расположение слов по их семантическим контактам). Вслед за Лейбницем взаимоотношение этих

---

<sup>54</sup> Furetière A. Dictionnaire universel. Paris, 1690. P. 2.

<sup>55</sup> Блумфилд Л. Язык. М., 1968. С. 149 и сл.

<sup>56</sup> Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме. М.; Л., 1936. С. 238—250.

двух принципов в лексикографии обсуждалось в разных странах на протяжении всего XVIII столетия<sup>57</sup>.

Позднее, в начале прошлого века, в связи с обоснованием сравнительно-исторического метода и родства языков лингвисты стали утверждать, что алфавитный порядок слов удобнее, так как дает возможность легче обзреть всю массу слов, характерную для каждого языка<sup>58</sup>. На этом спор, однако, не окончился. В нашем веке, особенно после 50-х годов, вновь стала остро обсуждаться проблема идеографических словарей, к сожалению, далеко не всегда в связи с проблемой «классификации вещей и идей».

Видный испанский филолог Х. Касарес, автор «Словаря идей», писал в предисловии, что объяснить, почему в его словаре 38 больших классов слов, а не 40 или 50, он сам, автор, объяснить не может. Так «получилось». Не в состоянии он истолковать и другое: почему в его словаре каждый класс распадается на две тысячи групп, а не на две с половиной или три тысячи групп. Так «получилось»<sup>59</sup>. Как видим, приведенные рассуждения напоминают нам аналогичные, уже известные рассуждения философа Лейбница, относящиеся к самому началу XVIII столетия.

Возникают не только лингвистические, но и мировоззренческие проблемы: как понимать «группы вещей и идей», с каких идеологических позиций подобные группы должны устанавливаться и классифицироваться? По моему глубокому убеждению, все слабые стороны идеографических, или, как их часто называют, аналогических, словарей, опубликованных до сих пор, объясняются стремлением их авторов создать «чисто лингвистическую группировку слов» без серьезного учета отношения подобных группировок к миру вещей, к миру реальной действительности.

<sup>57</sup> См., в частности, материалы в кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. М.; Л., 1966. С. 434—448; D'alembert J. Discours préliminaire de l'Encyclopédie. Paris, 1966. P. 10—12 (первое издание 1751 г.).

<sup>58</sup> Grimm W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1849. B. 1. S. 2—3; Schoof W. Zur Entstehungsgeschichte des Grimmschen Wörterbuch//Wörter und Sachen. Heidelberg, 1938. B. 19. S. 141—154.

<sup>59</sup> Casares J. Diccionario ideológico de la lengua española. Madrid, 1957. P. 10. Ср.: Dornseiff A. Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. Berlin, 1934; Niobey G. Nouveau dictionnaire analogique. Paris, 1979. P. 2.

Хотя сосюрговская формулировка «изучать язык в самом себе и для себя» критикуется уже свыше семидесяти лет, однако если и не прямо, то косвенно подобная формулировка дает о себе знать часто, например тогда, когда утверждают, что группировка слов и группировка вещей (в уже отмеченном широком смысле) принципиально не соотносимы. При этом ссылаются на специфику языка и находят опору у таких философов, как, например, Л. Витгенштейн. А он считал предрассудком веру в причинную связь между словами и вещами, а язык рассматривал как замкнутую в себе самой систему<sup>60</sup>.

Здесь могут быть два основных решения: либо надо признать, что язык и его категории ни в какой мере не только не определяются, но и не соотносятся с действительностью (точка зрения Л. Блумфилда и его последователей)<sup>61</sup>, либо, исходя из положения о языке как «непосредственной действительности мысли», необходимо разобраться, с одной стороны, как мир «вещей и идей» должен быть передан в словаре, а с другой — как сами «вещи и идеи» выражаются с помощью слов. Сложность проблемы — в многоаспектности самой природы языка и его функций.

Не только теоретически, но и практически до сих пор трудно совместить оба эти принципа расположения слов в одном словаре. Когда под руководством М. В. Ломоносова велась работа над изданием первого русского академического словаря, то принцип расположения слов по «словопроизводному порядку» после одиннадцати лет работы позднее был заменен принципом алфавитным. Словарь был издан в шести частях в 1789—1794 годах уже в алфавитной последовательности<sup>62</sup>. Но мысль о необходимости так или иначе совместить «удобное с разумным», алфавит-

---

<sup>60</sup> Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958. С. 101. («Границы моего языка означают границы моего мира», с. 80.)

<sup>61</sup> См. главу «Субституция» в кн.: Блумфилд Л. Язык. М., 1968. С. 269—289. Э. Бенвенист считал, что, несмотря на внешнюю формальную строгость, эта книга характеризуется «удивительной философской бедностью» (Benveniste E. *Problèmes de linguistique générale*. Paris, 1966. P. 7).

<sup>62</sup> Вомперский В. П. Словарь Академии Российской (1789—1794)//Изв. АН СССР. Сер. литер. и языка. 1983. № 6. С. 508.

ное и «идейное» расположение слов в словаре вновь и вновь возникает и в наше время. Обратим внимание на одну такую попытку, принадлежащую авторам, имевшим большой опыт серьезной словарной работы. Имею в виду книгу К. Халлига и В. Вартбурга<sup>63</sup>.

Авторы утверждают, что при создании идеографических словарей необходимо исходить не из классификаций, принятых в разных науках (к тому же их много!), а из общей классификации «вещей и идей», сложившейся в сознании «средних людей» данной эпохи, данного времени, из жизненных «преднаучных представлений» (*vorwissenschaftlichen Begriffsgut*)<sup>64</sup>. К этому убеждению значительно раньше пришел и Герман Пауль, обобщая свой большой опыт практической работы над словарем немецкого языка<sup>65</sup>. Все три исследователя считали, что такой подход к словарю поможет понять взаимодействие всех слов в языке.

Оставалось все же не до конца ясным: почему «сознание средних людей» должно помочь разобраться во взаимодействии разных слов в языке? Какая существует связь между тем и другим? В. Вартбург, в частности, считал, что расчленение словаря на «тематические группы слов» должно проводиться с позиции «человека со средним умственным кругозором», т. е. с позиции большинства людей, говорящих на данном языке. Исследователь выделял такие «группы слов», как *земля, растения, животные, люди* (с многочисленными градациями внутри каждой группы: *тело человека, его здоровье, его труд, его одежда* и т. д.) и некоторые другие. Они-то и должны истолковываться с «позиции человека со средним умственным кругозором».

В чем правы и в чем неправы эти исследователи? На мой взгляд, они правы в том, что все специальные термины (которые, как известно, исчисляются десятками тысяч) должны определяться в толковом

<sup>63</sup> Hallig K. und Warthburg W. Begriffssystem als Grundlage für Lexikographie. Versuch eines Ordnungsschemas. Berlin, 1952.

<sup>64</sup> Там же. С. 9.

<sup>65</sup> Paul H. Über die Aufgaben der wissenschaftlichen Lexicographie. München, 1984. S. 64—65.

словаре действительно с позиции «среднего кругозора». Более специальные сведения о терминах войдут в специальные энциклопедии. Поэтому и классификация подобных групп слов должна, учитывая, разумеется, состояние каждой отдельной науки, проводиться не с позиции специальной отдельной науки, а с позиции «среднего уровня знаний». Вместе с тем цитированные здесь ученые, по моему мнению, неправы, когда они отказываются от рассмотрения проблемы «слов и вещей» по отношению к таким «обыкновенным словам», как *человек, Вселенная, жизнь, деятельность, общество, труд, личность, производство*, или таким словосочетаниям, как *прибавочная стоимость* или *политическая экономия*. В этих случаях оказывается необходимой не позиция «среднего кругозора», а определенная идеологическая, мировоззренческая позиция самого лексикографа. От нее будут зависеть и определения перечисленных и им подобных слов.

Но как «заставить» слова взаимодействовать друг с другом в словаре?

Хорошо известно (и в лексикографии и в лексикологии), что слова связаны между собой не только семантически, но и словообразовательно. В одних случаях и те и другие связи оказываются на поверхности языка, в других — они требуют специального анализа. В итальянском, например, *matturo* 'зрелый' — *maturità* 'зрелость', как в тех же значениях и в испанском *maduro* — *madurez*, словообразовательно открыты, поэтому и в словаре они не нуждаются в комментарии. А вот, казалось бы, аналогичные словообразовательные отношения тех же по происхождению слов во французском языке (*mûr* *maturité*) не только требуют специального фонетического комментария, но и осложняют принцип алфавитного расположения слов: одно из них надо искать на *mû*, а другое — на *ma*. Вот почему бóльшая или меньшая степень разрыва между алфавитным и идеографическим принципом расположения слов в словаре во многом зависит и от словообразовательных, исторически сложившихся особенностей того или иного языка.

Само стремление обогатить принцип алфавита принципом идеографическим вполне закономерно и должно рассматриваться как достижение лексико-



графии нашего времени. Это, однако, нисколько не означает, что алфавитный принцип расположения слов будто бы устарел и перестает быть современным. Алфавит для всякого толкового словаря остается и должен остаться, как мы еще увидим, основным видом расположения слов в словаре. А вот обогащение алфавитного принципа с помощью других принципов действительно весьма плодотворно. Подобным усилиям принадлежит будущее<sup>66</sup>.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛОВ В СЛОВАРЯХ

Как я уже отмечал, определение слов — одна из самых трудных проблем (если не самая трудная) для всех словарей, особенно для словарей толковых, где определения должны быть понятны всем. Первые академические словари в разных странах решали эту проблему по способу «не мудрствуя лукаво». Вот, например, иллюстрации из первого французского академического словаря 1694 года: «*молодость* — возраст тех, кто молод», *лев* — хищное животное, которому свойственно рычать». Аналогичные толкования находим и в первых академических словарях других языков — испанского, итальянского, португальского, шведского, румынского<sup>67</sup>. Но прежде чем улыбнуться подобным «определениям», следует задуматься над трудностями, возникающими в процессе работы над

---

<sup>66</sup> В наше время количество идеографических словарей разных языков довольно велико. Не все они, однако, сделаны достаточно основательно. Критические замечания о них см. в статье: Rey A. Les dictionnaires: forme et contenu//Cahiers de lexicologie. Paris, 1965. P. 82—89. У нас в стране имеется фундаментальный четырехтомный словарь В. И. Абаева (Абаев В. И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. М., 1958—1987), где практически соединены в единое целое принципы толкового, двуязычного, этимологического, сравнительно-исторического и идеографического словарей. Удачно обогащен алфавит с помощью идеографии и в отличном шеститомном словаре П. Робера (Robert P. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Les mots et les associations d'idées. Paris, 1957—1964). В 1985 году этот же словарь опубликован уже в девяти томах под редакцией А. Рея, который все же отказался от идеографии в пользу алфавита.

<sup>67</sup> Примеры подобного рода см. в кн.: Le prefazioni ai primi grandi vocabolari delle lingue europee. Milano, 1959.

определениями. Трудности, хотя и иного характера, сохраняются и в наше время. Обратим на них внимание.

Уже цитированный мною западногерманский лингвист Е. Косериу вслед за французом Б. Потье предлагает преодолеть трудности определения слов путем разграничения определений лингвистических и нелингвистических. По его мнению, нелингвистические определения относятся к «миру вещей», тогда как определения лингвистические имеют дело со словами и словосочетаниями, типичными именно для данного языка в отличие от других языков.

Так, например, словосочетание *белая чайка*, по мнению Е. Косериу, не имеет ничего «специфически лингвистического», так как в «мире вещей» чайки действительно чаще всего бывают белыми. А вот *le cheval alezan* 'лошадь рыжей масти' требует «лингвистического истолкования», так как в современном французском языке прилагательное *alezan* свободно не употребляется и встречается почти только в сочетании с существительным *лошадь* (*le cheval*)<sup>68</sup>.

С таким разделением «вещей и слов» согласиться невозможно по многим причинам — теоретическим и практическим. Практически приведенная постановка вопроса привела бы к смешению толковых словарей со словарями фразеологическими, к подмене первых «с помощью» вторых. Теоретически же невозможно представить себе естественный язык, который состоял бы из одних идиоматических слов и словосочетаний и не опирался бы на самые обычные, во многом шаблонные слова и словосочетания. Поэтому, чтобы в толковом словаре пояснить словосочетание *le cheval alezan*, необходимо определить опорное слово — *le cheval* 'лошадь'. Как видим, никакой лексикограф не может и не имеет права «уйти» в сторону от необходимости определять самые обыкновенные слова. Разделение всех определений на лингвистические и нелингвистические, предложенное Б. Потье и Е. Косериу, представляется необоснованным и ненужным.

Как видим, и здесь в центре оказывается проблема слов и вещей, слов и понятий. При всем своеобраз-

<sup>68</sup> Goseriu E. Les structures lexématiques // Zeitschrift für französische Sprache und Literatur. Wiesbaden, 1968. Nr. 1. S. 16.

разии «мира слов» следует постоянно помнить о его глубоком взаимодействии с «миром вещей и понятий».

К сожалению, в последние годы и у нас об этом часто забывают. Отмечая, например, что глаголы *способствовать* и *препятствовать* воспринимаются как антонимические, один из авторов замечает, что подобные глаголы имеют «одинаковые синтаксические валентности». Поэтому можно в равной мере утверждать «Этот человек *способствует* (*препятствует*) вашему замыслу», но в предложении «Радость *способствует* ее выздоровлению» глагол *способствовать* нельзя заменить глаголом *препятствовать*. Затем следует неправомерный вывод, будто бы подобные глаголы «антонимичны на понятийном уровне и синонимичны на языковом уровне»<sup>69</sup>.

Между тем как части (элементы) лексики глаголы *способствовать*—*препятствовать* антонимичны и на понятийном и на языковом уровнях. Совсем другой вопрос, что в отдельных контекстах их антонимичность может быть выражена в большей или меньшей степени. А если в иных контекстах их взаимозаменяемость невозможна, то это объясняется ситуацией, намерением говорящих людей, а не семантикой самих глаголов. Смещение совсем различных явлений и категорий не движет вперед науку о языке, а только ее ослабляет. И в этом случае «мир слов» нельзя изолировать от «мира вещей и понятий».

Разумеется, проблема многозначности (полисемии) почти каждого слова — важнейшая проблема и лексикологии, и лексикографии, да и языка в его целостности. Но полисемия при всем своем огромном удельном весе в языке не сводится и не может сводиться к сумме отдельных контекстов, отдельных ситуаций, по существу своему неисчислимым.

Полисемия слова в естественных языках человечества образует один из глубоких водоразделов, отделяющих языки от всевозможных искусственных языковых построений. Последние могут быть весьма полезными для определенных, главным образом технических целей, но по своей природе и своему назна-

---

<sup>69</sup> Правдин М. Н. Словарное толкование, научность и здравый смысл // Вопросы языкознания. 1983. № 6. С. 14.

чению они принципиально отличны от естественных языков, органически связанных с духовным миром каждого народа.

Сама по себе идея создания искусственных языков — идея достаточно старая. В XVII веке, при жизни Р. Декарта и Дж. Локка, подобных проектов было много, и они оживленно обсуждались<sup>70</sup>. А в прошлом веке, в 1887 году, польский врач Л. Заменгоф, далекий от филологии, создал один из самых популярных среди искусственных языков — язык эсперанто. В наши дни эсперанто оттеснили на задний план другие кодовые построения, предложенные уже в XX веке<sup>71</sup>.

Иногда искусственными языками называют такие естественные языки, которые являются чужими для того или иного народа, но которые до поры до времени функционируют в разных странах как бы на правах литературных языков. «Искусственность» подобных языков совсем иная по сравнению с искусственностью построений типа эсперанто. Таковой была латынь в Западной Европе средних веков и (частично) эпохи Возрождения. Таким был арабский язык в Средней Азии и в Иране в VIII—X веках. Таким же был в определенную эпоху вэньянь (книжный китайский язык) в Японии и во Вьетнаме и т. д. Когда в Норвегии в течение трех столетий (1500—1800 гг.) литературным языком был датский, то именно в эти столетия Норвегия находилась под властью Дании<sup>72</sup>.

Как видим, здесь уже особые случаи, принципиально отличные от собственно искусственных языков типа эсперанто. Речь идет о вполне естественных языках, лишь в силу определенных, обычно социальных и исторических причин, оказавшихся на территории других стран, где они выполняют в определенную эпоху функцию литературных языков. Поэтому необ-

---

<sup>70</sup> О них см.: Cassirer E. *Philosophie der symbolischen Formen*. Berlin, 1923. В. 1. S. 68—80. Любопытно, что отголоски подобных обсуждений Е. Кассирер усматривал и в нашем веке, когда, по его словам, в лингвистике ведется острая «борьба между материалистами и формалистами» (the struggle between materialists and formalists) (Word. New York, 1945. V. 1. No. 2. P. 119).

<sup>71</sup> Forstier P. *The Esperanto movement*. The Hague, 1982.

<sup>72</sup> Lombard A. *Limbile scandinave*//*Revista de filologie romanică și germanică*. București, 1960. N 1. P. 13.

ходимо строго различать разные по своей природе типы искусственности, когда мы говорим, с одной стороны, об эсперанто, а с другой — о латыни в Западной Европе определенного времени или об арабском языке в Иране тоже определенной эпохи. К сожалению, многие лингвисты наших дней все перечисленные и им подобные случаи относят к единому понятию «искусственных коммуникативных систем», что, разумеется, неправомерно и ведет к смешению принципиально разных понятий.

Почему, однако, у многих лингвистов последних двух-трех десятилетий наблюдается настойчивое стремление рассматривать естественные языки человечества с позиции искусственных языков типа эсперанто? Ответ на этот вопрос и прост и непрост. Он прост в той мере, в какой обнаруживает желание свести сложное к простому (сложнейшую структуру естественных языков к простейшей структуре искусственных языков). Но он и непрост, так как выявляет удивительное среди некоторых специалистов непонимание природы естественных языков, многосторонне обусловленных духовным миром разных народов, языков как средств выражения «непосредственной действительности мысли».

Вопрос теперь часто ставится так: современное общение, современные средства коммуникации должны быть простыми и ясными, поэтому и языки должны быть простыми и ясными. Таковыми оказываются языки искусственные, поэтому под их строй и следует «подгонять» языки естественные. Нечто подобное можно прочесть у многих лингвистов нашего времени <sup>73</sup>.

Между тем в действительности все это не так. Чтобы выражать мысли и чувства просто и ясно, необходимо располагать не языком как суммой этикеток, а языком со всеми его возможностями, с его обобщающими средствами. Обобщающие же средства языка одновременно должны уметь передавать не только общее, но и самое конкретное, самое частное. И это в силу того, что любой естественный язык

<sup>73</sup> См., например, Ту Р а с. Semantics and grammar. A review of recent theories//Semiotica. Mouton, 1976. No. 4. P. 315. Ср. также: International conference on pidgins and creoles. Hawaii, 1975. P. 12—20.

есть не что иное, как «практическое действительное сознание», «непосредственная действительность мысли». Именно с таких позиций следует стремиться к простоте и ясности коммуникации, а не с позиции «языка—суммы этикеток». Однако призывы к сближению естественных и искусственных языков, придать первым структуру вторых постоянно раздаются в наше время<sup>74</sup>.

Как это ни парадоксально, для простоты и ясности современных коммуникаций как раз нужны естественные языки с их многоступенчатой структурой и лексической полисемией, а не языки «грубого помола», которые не могут находиться на уровне современной цивилизации и современной науки. Еще придется вернуться к этому вопросу, сейчас же необходимо обратить внимание на другой аргумент противников естественных языков.

Этот аргумент уже знаком нам — полисемия подавляющего большинства слов во всех естественных языках мира. Подобная полисемия будто бы порождает двусмысленность всех языков, а поэтому, борясь с полисемией, следует бороться и с естественными языками. Этим вызван и целый поток книг и статей, ранее уже цитированных, посвященных «двусмысленности языка».

Между тем так называемая двусмысленность естественных языков может иметь лишь три и только три источника: 1) когда люди недостаточно владеют родным языком, особенно его письменным стилем, и затрудняются выражать свои мысли и чувства достаточно грамотно (социальная природа языка); 2) когда литературный язык или даже диалект находятся на такой ступени развития, нормы которой еще недостаточно выработаны, поэтому между людьми может возникнуть непонимание (историческая природа языка); 3) когда люди вполне сознательно хотят передать свою мысль или чувство только наме-

---

<sup>74</sup> См., например: Павилёнис Р. И. Проблема смысла. Современный логико-философский анализ языка. М., 1983. С. 23 и 62. К сожалению, автору оказались неизвестными серьезные доводы против его концепции во многих работах, например: Brugmann K. und Leskien A. Zur Kritik der künstlichen Welt Sprachen. Strassburg, 1907; Wandruszka M. Interlinguistik. München, 1971. S. 105—115.

ком или только приблизительно (модальная функция языка). Никаких других источников «двусмысленность языка» не имеет и не может иметь.

Как видим, только в одном случае, когда тот или иной язык еще недостаточно исторически сложился, могут возникнуть трудности в процессе коммуникации. И это сравнительно легко объяснимо. К. Маркс еще в 1859 году справедливо писал: «...хотя наиболее развитые языки имеют законы и определения, общие с наименее развитыми, все же именно отличие от этого всеобщего и общего и есть то, что составляет их развитие»<sup>75</sup>. Известно, что все естественные языки человечества равны по своей природе, но степень их развития оказывается различной. Подобное различие обусловлено исторической и социальной природой самого языка, о чем писал К. Маркс. Поэтому и возможно наблюдать своеобразные сбои в системе языковой коммуникации, если тот или иной язык еще не достиг достаточно высокого уровня развития<sup>76</sup>.

Как видим, однако, даже в этих, во многом особых случаях, речь должна идти, разумеется, не о «двусмысленности языков», а об исторически разных уровнях их бытования. Эта проблема не типологическая, а глубоко историческая.

Что же касается степени владения тем или иным языком, то здесь мы имеем дело с общекультурной и общенациональной проблемой, во многих отношениях вечной в той мере, в какой вечной оказывается само стремление людей выражать свои мысли и чувства полнее, точнее, ярче, разнообразнее, с оттенками или без них, прямо или фигурально в зависимости и от целей самих коммуникаций и от условий, в которых подобные коммуникации совершаются. Проблема эта вечная, так как владеть тем или иным языком всесторонне доступно лишь очень и очень немногим, особо выдающимся личностям.

Еще в начале нашего века известный итальянский писатель Эдмондо де Амичис показал, как нелегко

---

<sup>75</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 12. С. 711.

<sup>76</sup> Попытка обосновать это положение на конкретном материале разных языков сделана мною в монографии «Что такое развитие и совершенствование языка?» (М., 1977).

хорошо владеть родным языком даже, казалось бы, образованным людям. В своей яркой книге «О величии языка» он рассказал о людях, с трудом выражающих свои мысли и чувства, особенно на письме. Так возникают не только «слова-сорняки», но и «словосочетания-сорняки»: так сказать, значит, штука, порядка (порядка пяти, десяти), ну вот и многие другие. Писатель даже назвал одну из глав своей книги «Госпожа штука» («Il signor coso») <sup>77</sup>. Можно вспомнить и Гоголя, почтмейстер которого («Мертвые души», т. 1, гл. 8) то и дело употреблял такие слова и выражения, как *эдакий, так сказать, сударь ты мой, некоторым образом* и им подобные. Нечто сходное, увы, мы слышим и в наши дни. Частично меняется лишь состав подобных слов, но не меняются «костыли», на которые опирается плохая речь.

И было бы нелепо объяснять потребность в подобных костылях «двусмысленностью языка».

Все здесь сказанное имеет прямое отношение и к теории словарей. Под влиянием самого построения искусственных языков многие исследователи стали утверждать, что и в естественных языках надо: 1) стремиться к реализации принципа «одно слово — одно значение», 2) если и допускать полисемию, то в минимальных пределах, поэтому ни о каком основном значении слова не может быть и речи, так как все значения равноправны в своей целостности, и что 3) оттенками различных значений следует пренебрегать, их не замечать: они мешают стройности системы, мешают построению непротиворечивого словаря <sup>78</sup>.

Дело не только в полной нереалистичности подобных предложений и утверждений. Гораздо серьезнее то, что они искажают саму природу лексики естественных языков, полностью лишают ее огромных выразительных возможностей.

Покажу это на простом, уже знакомом нам примере. Из ряда значений русского прилагательного

---

<sup>77</sup> De Amicis E. L'idioma gentile. Milano, 1909. P. 32—36.

<sup>78</sup> В одном коллективном сборнике, например, читаем: «...в идеале каждому отдельному значению соответствует отдельный языковой знак в его материальном воплощении» (Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка. М., 1968. С. 121).



*глубокий* выделяю два: «имеющий значительное протяжение сверху вниз» (*глубокий колодец*) и «замечательный, выдающийся» (*глубокий мыслитель*). Теперь представим на минуту, что перед нами два совсем разных слова, лишь звучащие одинаково (омонимы). Представим, что эти два слова никак не соприкасаются семантически. В этом случае каждое из них полностью лишается того смыслового объема, который свойствен слову *глубокий*, когда оно рассматривается в обоих здесь отмеченных значениях. Если переносное значение *глубокий* (*глубокий мыслитель*) перестанет восприниматься на фоне его же пространственного значения (*глубокий колодец*), то потухнет и его переносное значение, которое в системе языка усиливается самим принципом взаимодействия разных значений. В нашем случае — пространственного (физического) и переносного (духовного). Слова перестанут быть словами и станут этикетками, характерными для искусственных языков (кодов). Здесь же они и должны быть только этикетками.

Вот почему принцип «одно слово — одно значение» для любого естественного языка — это не только не идеал, но гибель языка: превращение его в средство, совершенно не способное быть «непосредственной действительностью мысли».

Быть может, все же разные значения прилагательного *глубокий* кому-то могут помешать? Двусмысленность языка?

Попытаюсь ответить на эти вопросы с помощью явного примера. У русского писателя прошлого столетия А. А. Шаховского (1777—1846) в его пьесе «Новый Стерн» (1807 г.) приводится хорошо известный диалог между бариним и крестьянкой. Барин обращается к крестьянке:

Добрая женщина, ты меня *трогаешь*.  
Что ты, барин, перекрестись! Я до тебя и  
не *дотронулась!*<sup>79</sup>

Разумеется, на таком интеллектуальном уровне одного из участников диалога полисемия глагола *трогать* действительно может оказаться двусмысленной. Но это обстоятельство лишь подтверждает справедли-

<sup>79</sup> Шаховской А. А. Сочинения. Спб., 1898. С. 34.

вость только что отмеченного тезиса: полисемия слова иногда вызывает непонимание отнюдь не по причине двусмысленности языка, а только по причине недостаточного владения им, недостаточной общей культуры тех или иных людей, говорящих или пишущих (вспомним ранее приведенный пример Бертрана Рассела с английским сержантом и его лексиконом).

Само владение языком, даже далекое от высокой степени, требует немалой культуры. Об этом, к сожалению, нередко забывают. Разумеется, полисемия слов осложняет лексику, но вместе с тем дает ей возможность постоянно стремиться стать могучим и великолепным средством передачи бесконечно разнообразных и многообразных мыслей и чувств людей, живущих в обществе. У выдающегося французского филолога Мишеля Бреаля были все основания уже давно считать лексическую полисемию одним из «важнейших признаков приобретенной цивилизации», а у не менее известного датского лингвиста О. Есперсена нашлись серьезные основания, позволяющие утверждать, что язык, лишенный полисемии слов и полисемии грамматических категорий, немедленно превращается в «плоское и беспомощное средство, способное к передаче лишь самой элементарной коммуникации»<sup>80</sup>. Вслед за этими учеными мне уже приходилось писать даже о «законе многозначности слов» в естественных языках человечества<sup>81</sup>.

Таково мнение филологов. А что думают о полисемии выдающиеся представители других наук, и прежде всего философии?

В одном из центральных своих произведений — в «Науке логики» — Гегель писал: «Формы мысли выявляются и отлагаются прежде всего в человеческом языке...». И несколько дальше, говоря о немецком языке, Гегель продолжает: «Многие из его слов имеют к тому же еще ту особенность, что обладают

---

<sup>80</sup> Bréal M. Essai de sémantique. Ed. 6. Paris, 1913. P. 143; Jespersen O. Mankind, Nation and Individual from a linguistic point of view. Oslo, 1925. P. 89. Еще раньше, в прошлом столетии, об этом же писал русский филолог П. Хохряков в кн.: Язык и психология. Казань, 1889. С. 6.

<sup>81</sup> См. ранее уже названную главу «Закон многозначности слова» в моей книге «Человек и его язык» (Изд. 2. М., 1976. С. 236—244).

не только различными, но и противоположными значениями, так что нельзя не усмотреть в этом даже некоторого спекулятивного духа языка: мышлению может только доставлять радость, если оно наталкивается на такого рода слова...»<sup>82</sup>. То, что Гегель усматривал прежде всего в немецком языке, в большей или меньшей степени характерно для всех развитых языков народов мира. И философ был глубоко прав, когда обнаруживал в полисемии отнюдь не «двусмысленность языка», а радость (даже радость) для человеческой мысли — нечто прямо противоположное двусмысленности.

Ввиду особой важности этого вопроса в наше время, когда полисемия постоянно отождествляется с «двусмысленностью языка», приведу еще другие свидетельства в ее защиту. Здесь особенно существенны убеждения выдающихся представителей физико-математических наук, где на первый взгляд принцип «одно слово — одно значение» представляется как будто бы удобным для наук данного цикла. Между тем это совсем не так.

Вот суждение одного из крупнейших физиков нашего столетия, почетного академика АН СССР, лауреата Нобелевской премии, одного из создателей квантовой механики француза Луи де Бройля (1892—1970). Он пишет: «Лишь обычный язык, поскольку он более гибок, более богат оттенками и более емок, при всей своей относительной неточности по сравнению со строгим символическим языком позволяет формулировать новые идеи и оправдывать их введение путем наводящих соображений или аналогий»<sup>83</sup>. Это же мнение разделял и его современник, выдающийся физик-теоретик, немецкий ученый В. Гейзенберг (1901—1976)<sup>84</sup>. Еще более ясно и решительно сходные мысли развивает видный американский специалист по компьютерной технике М. Таубе. «Если бы каждое слово, — читаем мы в одной из его книг, — имело только одно значение и каждое его значение выражалось бы только одним сло-

<sup>82</sup> Гегель. Сочинения. М., 1937. Т. 5. С. 6—7.

<sup>83</sup> Бройль Луи де. По тропам науки. М., 1962. С. 327 (особо следует отметить — «лишь обычный язык», в оригинале: «seulement le langage ordinaire»).

<sup>84</sup> Гейзенберг В. Физика и философия. М., 1963. С. 141.

вом, было бы невозможно описать словами, что любое данное слово означает»<sup>85</sup>.

И это, разумеется, глубоко справедливо. Можно прибавить, что аналогичного мнения придерживался и создатель теории относительности Альберт Эйнштейн<sup>86</sup>. У нас в стране сходные мысли развивал еще в прошлом столетии Д. И. Писарев. А в середине нашего века — кораблестроитель и математик А. Н. Крылов. И не случайно президент АН СССР С. И. Вавилов в 1945 году, отмечая научные заслуги Крылова, особо выделил его умение владеть всеми ресурсами языка при написании, казалось бы, чисто технической монографии<sup>87</sup>.

В наше время нападки на полисемию слова наблюдаются с разных сторон. Даже те исследователи, которые готовы признать самый факт полисемии слова (факт абсолютно очевидный), вместе с тем всячески стремятся ограничить его действие в разных стилях языка. Рассуждают так: полисемия слова дает о себе знать в языке художественной литературы, что же касается других стилей языка, то полисемия здесь должна рассматриваться со знаком минус, ибо эти стили требуют точности, которой будто бы мешает полисемия<sup>88</sup>.

Здесь не знаешь, чему больше удивляться: то ли несостоятельности заключения о «неточности языка» больших национальных писателей, то ли желанию так или иначе, если не с одного, то с другого «конца», все же связать полисемию с «двусмысленностью языка». Стиль научного изложения такие авторы связывают с антиэмоциональным его характером, замыкая понятие языковой эмоциональности рамками лишь стиля художественной литературы. Будучи будто бы антиэмоциональным, стиль научного изложения тем самым и не нуждается в полисемии слова.

---

<sup>85</sup> Таубе М. Вычислительные машины и здравый смысл. М., 1964. С. 39.

<sup>86</sup> Эйнштейн А. Физика и реальность. М., 1965, глава «Теория относительности», где защищается принцип изложения «обычным языком». См. также: Кузнецов Б. Г. Эйнштейн. Жизнь. Смерть. Бессмертие. М., 1972. С. 503—580.

<sup>87</sup> См. об этом: Вестн. Акад. наук СССР. М., 1946. № 1. С. 78—80.

<sup>88</sup> Таков ход суждений, например, в кн.: Разинкина Н. М. Развитие языка английской научной литературы. М., 1978.

Между тем подлинно большие ученые, в том числе, разумеется, и физики и математики, обычно не только рассуждали иначе, но и всем своим творчеством доказывали противоположное — единство ресурсов языка в самом стиле научного изложения. К ранее уже приведенным их суждениям о полисемии слова хочу прибавить суждения других авторов об эмоциональной окраске стиля научного изложения.

Разумеется, эмоциональность эмоциональности рознь. Хорошо написанный учебник по физике эмоционален иначе, чем учебник по истории или литературе. Но если учебник по физике создан талантливым физиком и с увлечением, то всякий тонкий ценитель характера изложения материала не пройдет мимо если не внешней, то внутренней эмоциональности изложения. В самой простоте и ясности можно обнаружить подобную внутреннюю эмоциональность изложения.

Вот что думал по этому поводу великий физик и математик XVII столетия Блез Паскаль: «Когда открываешь научную книгу и убеждаешься, что в ней все изложено ясно и просто, самым обыкновенным языком, то невольно удивляешься: ведь ты ждал встречи с важным и чопорным автором, а знакомишься прежде всего с человеком. Как хорошо!»<sup>89</sup>. Здесь показательна не только сама защита «обыкновенного языка», но и глубокое убеждение, что с помощью такого языка легче быть точным и ясным, чем с помощью языка, ресурсы которого так или иначе ограничены. Хотя после Паскаля физико-математические науки шагнули бесконечно далеко, эта мысль великого ученого сохраняет всю свою актуальность и в наше время.

Дело в том, что и в современную эпоху, несмотря на своеобразие «языка науки», между ним и «обыкновенным языком» сохраняются и должны сохраняться глубокие контакты. Как мы только что видели, данный тезис оказывается близким многим выдающимся ученым современности. К тому же подобная близость подтверждается и историческими фактами.

---

<sup>89</sup> Pascal B. *Pensées*. Paris, 1910. P. 28. Первое издание этой книги вышло в 1669 году, уже после смерти ее автора.

«Совершенство итальянской художественной прозы, — пишет хорошо известный историк науки Л. Ольшки, — было достигнуто, как это и ни парадоксально, на попроще естествознания»<sup>90</sup>. Автор, в частности, имеет в виду итальянские сочинения Галилея и некоторых его современников. Язык науки не мог бы воздействовать на художественную прозу, если он сам не опирался бы на все ресурсы языка, на все его возможности. Эмоциональность, в частности, может быть понятием не только производным от художественной прозы, но и производным от языка науки. Разумеется, в разные эпохи и в разных языках подобное соотношение менялось, как меняется оно и в наши дни, но самый факт взаимодействия между «языком науки» и «обыкновенным языком», между «языком науки» и «языком художественной прозы» не подлежит сомнению. Язык и «распадается» на отдельные стили и вместе с тем сохраняет свое единство. Это существенно и в общественном плане, и в плане составления словника для словаря: на что словник должен ориентироваться — на отдельные стили языка или, по возможности, на литературный язык в его целостности?

Поверхностное мнение, согласно которому владение «языком науки» не требует одновременного владения литературным языком в целом, к сожалению, широко распространено среди многих лингвистов. Против этого предрассудка, к счастью, иногда раздаются и протесты.

«В нашу эпоху, — читаем мы у одного из критиков подобного мнения, — историк, который заботится о своем стиле, может этим лишь подорвать свой же авторитет в науке. Но это явление временное. Наступит день, когда искусные перья оживят чары исторических исследований»<sup>91</sup>. Необходимо присоединиться к оптимистическому прогнозу автора этих справедливых строк. Хотя дело здесь не только в «чарах»,

---

<sup>90</sup> Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. М.; Л., 1933. Т. 3. С. 115. К сожалению, русская «научная проза» этого времени все еще почти не изучена. Но никак нельзя согласиться с Г. Шпетом, будто бы она была тогда «сплошной тарбарщиной» (Шпет Г. Очерк развития русской философии. Пг., 1922. С. 42).

<sup>91</sup> Парандовский Я. Алхимия слова. М., 1972. С. 40.

сколько в простой убедительности исторического исследования: оно требует не только глубокого понимания самого предмета изучения, но и яркой формы его изложения. Без второго условия, по существу, нет и первого. Во всяком случае, это первое представит в тусклом виде.

К сожалению, однако, для оптимизма здесь пока нет серьезных оснований.

«Чтобы написать в наше время научную статью,— читаем у одной из сторонниц раскола литературного языка, — не нужно вообще уметь писать: достаточно иметь в своем распоряжении лишь некоторый (сравнительно ограниченный) набор языковых средств»<sup>92</sup>. На мой взгляд, здесь смешиваются разные явления: констатация факта и отношение исследователя к такому факту. То, что многие «средние ученые» в разных странах очень плохо владеют своим же литературным языком, — это, увы, факт. Но то, что исследователь провозглашает право считать подобный факт неизбежным и даже нормальным, с этим согласиться невозможно. Ведь само понятие «культуры языка» предполагает не только констатацию тех или иных фактов, но и активное воздействие на них, поощряя в языке все целесообразное и, по возможности, устраняя все нецелесообразное, все, обедняющее ресурсы языка.

А как мы уже видели, большие ученые в разных областях знания всегда считали, что, владея лишь «набором» определенных языковых клише, нельзя по-настоящему владеть и «языком науки». За ним всегда обязан «стоять» общелитературный язык.

Здесь все оказывается взаимосвязанным. Стремление в «языке науки» отойти подальше от литературного языка вызвано убеждением, что в нем господствует полисемия, которая будто бы неизбежно вызывает «двусмысленность». А она противопоказана «языку науки». Самое удивительное, что даже такие известные филологи, как А. А. Холодович и

---

<sup>92</sup> Лаптева О. А. Внутрителивая эволюция современной русской научной прозы // Развитие функциональных стилей современного русского языка. М., 1968. С. 131.

Ю. М. Лотман, постоянно связывают полисемик с «двузначностью языка»<sup>93</sup>.

Вместе с тем необходимо отметить, что полисемия не нуждается и в таких ее защитниках, которые подходят к ней с чисто количественными оценками. При этом рассуждают так: будто бы легче запомнить ограниченное количество слов, каждое из которых имеет много значений, чем очень много слов с однозначными значениями<sup>94</sup>. Наивность подобных заключений очевидна. Во-первых, полисемия обусловлена прежде всего не количественной, а качественной природой слова, а во-вторых, кто и как легче запоминает те или иные слова, относится не к природе языка, а к особенностям памяти говорящих и пишущих людей. К тому же полисемия нуждается не в оправдании (она, как мы уже знаем, объективное свойство лексики всех естественных языков), а в глубоком осмыслении.

На мой взгляд, современные нападки на полисемию вызваны неразличением и даже полным смешением двух разных наук — семантики как науки лингвистической (в ее двух основных разновидностях — лексической семантике и грамматической семантике) и семиотики как науки о знаках.

В другой связи и по другому поводу подобное различие хорошо показал Э. Бенвенист, на протяжении ряда лет возглавлявший Международную ассоциацию по семиотике.

Вот его пример: существительное *gôle* 'роль' имеется во французском языке, а *gil* — не имеется. На этом семиотика обычно ставит точку. Ей этого достаточно. А семантика здесь только начинается. Она устанавливает: *le gôle* — живое французское слово, но его современное основное значение («определенная

---

<sup>93</sup> Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979. С. 229; Лотман Ю. М. О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры // Вопросы языкознания. 1963. № 3. С. 49. Еще печальнее, когда выступления против полисемии, т. е. против того, чем реально наделены все естественные языки, сопровождаются насмешками над «тонкостями языка», будто бы никому ненужными. Так поступают, например: Dubois J., Dubois C. Introduction à la lexicographie. Paris, 1971. P. 78—80.

<sup>94</sup> Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика. М., 1976. С. 162—163.



часть сценического произведения, исполняемая актером») установилось не сразу. Вплоть до XVI столетия его этимологическое значение — «список», «реестр» (лат. rotulus) — встречалось чаще, чем значение сценическое. Позднее, однако, именно на основе сценического значения стали вырастать новые переносные осмысления этого слова — осмысления, частично известные и другим европейским языкам, располагающим данным же словом. Отсюда и словосочетания типа *le rôle muet* 'немая роль' (не только в сценическом смысле), *le rôle dirigeant* 'ведущая роль', *à tour de rôle* 'по очереди' и т. д. Между тем для семиотики этих проблем, связанных с полисемией, просто не существует. Как отмечает Бенвенист, семиотика в отличие от семантики оперирует «закрытым значением» (*le sens refermé*) и не интересуется его выходом к реальности, к действительности<sup>95</sup>.

На основе такого рода примеров сам Э. Бенвенист приходит лишь к одному заключению: семантика и семиотика — совсем разные науки. Мне же представляется важным еще одно заключение: некоторые семиотики со своих позиций стремятся подогнать семантику к семиотике. Отсюда и нападки на полисемию.

Возникает не только нежелание заниматься собственно семантикой, но и насмешки над исследователями, которые анализируют тонкие, внешне малозаметные, но по существу своему важнейшие движения слов.

Теперь мы вновь возвращаемся к проблеме значения слова и к тому, как эти значения должны подаваться в словаре.

Начнем с определения. Значение слова — это исторически образовавшаяся связь между звучанием слова и тем отображением предмета или явления, которое происходит в нашем сознании и находит выражение в самом слове<sup>96</sup>. При всей неполноте и несовершенстве подобного определения (в частности, в нем три раза фигурирует само существительное слово) оно все же имеет то достоинство, что дается

<sup>95</sup> Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. V. 2. Paris, 1974. P. 20—21.

<sup>96</sup> См. мое «Введение в науку о языке» (Изд. 2. М., 1965. С. 13, 133—134).

с позиции языка как «непосредственной действительности мысли». Что же касается диаметрально противоположного определения значения слова, широко распространенного во многих работах и согласно которому значение слова — это «...его потенциально возможные сочетания с другими словами, составляющими лексическую валентность слова»<sup>97</sup>, то оно предлагается с позиции языка как «чисто» знаковой системы. В нем выделяются отношения, но игнорируется субстанция, не отмечается, что выражает и что обозначает слово. При всем огромном значении категории отношения в языке, а следовательно, и в науке о языке подобные отношения не могут существовать сами по себе. Они организуют материю (в широком смысле) языка. Поэтому и в определении значения слова взаимодействие материи и формы должно быть учтено непременно. Оно-то и формирует душу каждого слова.

Но общее определение значения слова еще не устраняет всех трудностей, возникающих при включении в словарь всех отдельных конкретных определений слов и словосочетаний.

Обычно возражают: а как можно установить основное значение слова, располагающего множеством значений? Между тем именно здесь дает о себе знать количественный принцип — от более употребительного значения к значениям менее употребительным, а затем и к фразеологическим сочетаниям. Тут же обычно возникает и другое возражение. А как быть с эмоциональной (ее часто называют экспрессивной) окраской слова? Она, дескать, целиком субъективна: одному кажется так, другому иначе.

Подобные возражения бьют, однако, мимо цели. И хотя до сих пор их постоянно настойчиво выдвигают, но по существу своему они несостоятельны, так как возникают у людей, не считающихся с природой языка.

Произнося такие, слова, как *любовь* или *ненависть*, *страсть* или *равнодушие*, говорящий может, разумеется, и совершенно не испытывать этих чувств непосредственно. Больше того. Он может переживать даже противоположные чувства. И все же эмоцио-

---

<sup>97</sup> Звегинцев В. А. Семасиология. М., 1957. С. 123.

альная (экспрессивная) окраска свойственна природе подобных слов во всех языках. Необходимо, как известно, различать непосредственные переживания (эмоции) и переживания (эмоции) опосредованные, как бы сублимированные в словах. Такова природа языка, в котором действительность (в широком смысле) преломляется сквозь обобщающую силу самих ресурсов языка<sup>98</sup>. Все это весьма существенно и для лексикографа при распределении разных значений слова и при их характеристике с помощью словарных помет.

Но как все же следует распределять разные значения слова в словаре и как устанавливать их количество? И этот вопрос не относится к числу легких.

В самом популярном французском словаре минувшего века, в большом четырехтомном словаре Эмиля Литтре (впервые, как мы уже знаем, он был опубликован в 1863—1872 гг.), глагол *faire* 'делать' оказался разделенным на 80 значений и подзначений<sup>99</sup>. Сама по себе полисемия такого глагола, как *faire* не только во французском, но и во многих других языках (глагол *делать*) не может вызвать удивления (ср., например, *делать* станки, *делать* добро и *делать* по-своему). Но почему все же 80 дроблений? Не слишком ли много? При тщательном рассмотрении оказывается, что Литтре не различал значений и употреблений слова. Между тем в наше время стало очевидным, что и значение и, если угодно, подзначение всегда стремятся к обобщению того или иного количества отдельных употреблений слова, тогда как употребление слова чаще всего остается на уровне единичных случаев, единичных или очень немногих контекстов. Неразличение этих категорий (*значений и употреблений слов*) и привело Литтре к цифре 80 в группировке словарной статьи, посвященной глаголу *делать*.

Как уже отмечалось, сам словарь Литтре сыграл выдающуюся роль в истории французской культуры. Им широко пользовались писатели и публицисты

<sup>98</sup> Ср.: Рубинштейн С. А. Основы общей психологии. М., 1946. С. 458—468; Резников Л. О. Понятие и слово. Л., 1958. Из более старых работ: Erdmann K. Die Bedeutung des Wortes. Auflage 4. Leipzig, 1925. S. 30—35.

<sup>99</sup> Littré E. Dictionnaire de la langue française. Paris, 1863—1872.

того времени. Огромный, тщательно документированный материал помог разобраться в лексике языка. Вместе с тем уже в начале нашего века стали очевидны и его недостатки.

Э. Литтре считал себя учеником французского философа-позитивиста Огюста Конта (1798—1857), который много занимался проблемой классификации наук. Он считал, что иерархия наук определяется степенью уменьшения их абстрактности и соответственно степенью увеличения их сложности. Литтре, которому импонировала эта мысль, по-видимому, стремился обосновать ее на материале словаря: отсюда бесчисленные дробления разных значений слова (уменьшение их абстрактности) и соответственно увеличение сложности каждого из этих значений. Если и не прямая зависимость существует между философом Контом и лексикографом Литтре в осмыслении подобных процессов, то косвенную зависимость здесь нельзя не обнаружить<sup>100</sup>.

Критикуя Литтре, мы не должны, однако, забывать, что проблема соотношения между основным значением многозначного слова и его последующими значениями (или подзначениями) остается одной из основных проблем не только лексикографии, но и семасиологии нашего времени. Проблема осложняется еще и понятием «оттенков значения», о которых попутно уже шла речь раньше.

Хорошо известный швейцарский лингвист В. Вартбург, всю свою жизнь посвятивший созданию много-томного фундаментального «Словаря галло-романской лексики», считал, что в самом соотношении между основным значением слова и последующими, нередко далеко отстоящими значениями нужно уметь обнаружить культуру народа, ее постоянное историческое развитие. Этим определяется высокая миссия серьезного, хорошо подготовленного лексикографа<sup>101</sup>.

<sup>100</sup> В общих чертах Э. Литтре сам рассказал о своей зависимости от О. Конта (Littré E. Comment j'ai fait mon dictionnaire. Ed. 3. Paris, 1897. P. 3). История создания словаря Литтре освещена в книге: Rey A. Littré. L'Humaniste et les mots. Paris, 1970. У нас некоторые мысли О. Конта комментировал в свое время Д. И. Писарев в ярко написанной статье «Исторические идеи Огюста Конта» (Сочинения Д. И. Писарева. Спб., 1897. Т. 5. С. 313—382).

<sup>101</sup> Wartburg von W. Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. Tübingen, 1962. S. 115—125.

Об этом же раньше писал у нас В. В. Виноградов, когда справедливо обобщал: «Вне зависимости от его данного употребления, слово присутствует в сознании со всеми своими значениями, со скрытыми и возможными, готовыми по первому поводу всплыть на поверхность»<sup>102</sup>. Подобная сила слова определяется не только развитием языка, но и развитием всей культуры народа.

Возвращаясь к только что приведенному примеру с глаголом *делать*, можно утверждать, что для всякого, даже элементарно образованного человека с родным русским языком подобный глагол, как и сотни других, ему подобных, «присутствует в сознании» каждого человека со многими его значениями и оттенками значений. Все они не только присутствуют в сознании, но могут быть и потенциальными — «скрытыми и возможными», всегда готовыми стать вполне реальными. Поэтому «обыкновенные люди» и не замечают семантических движений в процессе перехода от *делать* станки к *делать* добро. И с более резким разрывом — *делать* по-своему, *делать* честь кому-нибудь и даже *делать* нечего (где *делать* как такового уже, собственно, и нет).

Но то, чего не замечают «обыкновенные люди», обязаны замечать лингвисты и тем более лексикографы: они должны размещать в словаре разные значения в определенной, строго продуманной последовательности.

Часто бывает, однако, и так, что одной последовательности, даже тщательно продуманной, бывает недостаточно. Тогда возникает необходимость в комментарии лексикографа, хотя бы самом кратком.

Приведу элементарный пример. Основное значение прилагательного *правый* — пространственное (месторасположение). Вместе с тем оно широко употребляется и в русском, и во многих других европейских языках в политическом значении (консервативный, реакционный — с рядом оттенков). Чтобы понять, почему это переносное значение является производным от первого, пространственного значения, надо знать, что в парламентах разных капиталистических

---

<sup>102</sup> Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947. С. 14.

стран консервативные партии обычно размещались с правой стороны от председателя, а более прогрессивные партии — с левой стороны.

Такой предельно краткий комментарий (он необходим) сразу же поясняет, как более позднее значение наслаивается на более раннее значение, переносное — на буквальное и почему первое значение остается основным, несмотря на все перипетии реальных и возможных переносных осмыслений слова. Становится ясным и другое: почему в подобных случаях не происходит омонимического раскола полисемии.

Часто возражают так: нельзя смешивать синхронию и диахронию и вводить исторические сведения в словарь, который должен быть строго синхроническим и не выходить за пределы современного языка. Но такие возражения не могут считаться серьезными. И дело здесь совсем не в стандартной формуле последователей младограмматиков — «нельзя отрывать синхронию от диахронии», — а в том, что диахрония присутствует в самой синхронии, делает ее живой и подвижной. И краткий комментарий, подобный приведенному, нисколько не нарушая «чистоты синхронного среза», лишь перебрасывает мост от одного значения к другому, в одинаковой или почти одинаковой степени современных.

Полисемия обогащает и расширяет ресурсы языка на всех его уровнях. В лексике она постоянно дает о себе знать в словах различных частей речи в разнообразных синтаксических функциях и осмыслениях.

Вот, например, как Пушкин в «Евгении Онегине», опираясь на общенародный язык, осмысляет полисемию личного местоимения *мы* и притяжательного местоимения *наш*: «*Мы* все учились понемногу» (гл. I, строфа 5) — здесь *мы* — общество в целом. «Так уносились *мы* мечтой К началу жизни молодой» (I, 47) — здесь *мы* — автор и его герой, Онегин. «Вот *наш* Онегин сельский житель» (I, 53) — здесь *наш* объединяет автора и читателя и т. д.<sup>103</sup> Кажалось бы, *мы* — это только множ. число к я. Но это «только», играя решающую роль (основное значение), вместе с тем не мешает местоимению разви-

<sup>103</sup> См.: Винокур Г. О. Слово и стих в «Евгении Онегине» // Пушкин. М., 1941. С. 170.

ваться в разных семантических направлениях, которые все более и более расширяют и укрепляют ресурсы языка, помогают ему не быть простой номенклатурной сеткой значений.

## МНОГОЗНАЧНОСТЬ СЛОВА И СЛОВАРИ

Как мы видим, полисемия слова, явная и очевидная и в общенародном и в общелитературном языке, становится еще более явной и очевидной под пером выдающихся писателей.

Вот только несколько примеров. Латинский глагол *calleo* (*callegere*) буквально означает «быть мозолистым» (основное значение). Далее сравнительно легко понять, как развивались его последующие значения: «набить руку», «быть искусным, опытным» (мозоли, как известно, обычно возникают в процессе физического труда) и даже «трудиться для себя». Вместе с тем под воздействием, в частности, популярной римской поговорки «*omnes homines calleant ad quaestum suum*» (букв. «все люди опытные в том, что относится к их выгоде») глагол *calleo* стал получать отрицательное значение («работать для себя, в своих интересах»). Это новое значение стало встречаться у писателей. Так, у Публия Теренция (II в. до н. э.) в его знаменитой комедии «Адельфы» один из персонажей, желая упрекнуть в нечестности другого, заявляет: «*Ego illius sensum pulchre calleo*» — «Я прекрасно понимаю его намерения». Ситуация проясняет: «Я чувствую недоброе в его намерениях»<sup>104</sup>. От отдельных ситуаций к более общему значению — таков обычный путь семантического развития слова.

Как же, однако, в подобных случаях должен поступить лексикограф, располагающий такой гаммой значений: 1) иметь жесткую кожу, быть мозолистым; 2) быть закаленным (в процессе работы); 3) набить руку, быть опытным, искусным; 4) трудиться в своих интересах? Он должен начать с первого, основного

<sup>104</sup> См. отличное критическое издание на латинском и русском языках: Публий Теренций. Адельфы. Комедия. Введение и комментарий С. И. Соболевского. М., 1954. С. 273.

значения, но не только потому, что оно старше, древнее последующих значений, но и потому, что последующие значения как бы вырастают на базе, на основе первого. Разумеется, в этимологическом словаре исходное значение должно быть первым. В толковом же словаре, даже на материале мертвых языков, задача несколько иная: здесь необходимо показать соотношение разных значений на основе основного значения. Если основное значение совпадает с этимологическим, то задачи обоих типов словарей сближаются. Если же такого совпадения в языке определенной эпохи нет, то их задачи частично расходятся.

Что же касается уничижительного оттенка глагола *calleo*, то им нельзя пренебречь, так как в словообразовательном ряду он более настойчиво напоминает о себе в других словах: *calliditas* — это и «умение», «сноровка», но и «хитрость», «лукавство», *callidus* — это и «искусный», и «лукавый»<sup>105</sup>. В подобных случаях задача лексикографа так распределить разные значения, чтобы читателю, по возможности, была ясна связь переходов: «быть мозолистым» > «набить руку» > «трудиться для себя» (последний этап подтверждается всем словообразовательным рядом, где явно выражены и «лукавство», и «лукавый»).

Лексикограф обязан не только владеть материалом, но и постоянно думать о читателях своего словаря, в частности и в особенности — ясна ли им классификация значений многозначных слов, предложенная в словаре. А это вопрос совсем непростой. Универсальных схем здесь нет. Рассуждения по типу «от прямого значения к переносному», «от частного к общему» или, наоборот, «от общего значения к частному» иногда подтверждаются, а иногда совсем не подтверждаются материалом. Здесь необходимы более тонкая дифференциация, более пристальное изучение языкового материала.

Прилагательное *лакмусовый* в современном русском языке образовано от *лакмус* «красящее расти-

---

<sup>105</sup> Ernout A. et Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, 1951. P. 156 (авторы отмечают два противоположных значения и у глагола *calleo*).



тельное вещество». Но в отличном словаре С. И. Ожегова это прилагательное справедливо поясняется не только с помощью словосочетания, но и с помощью его переносного осмысления — «о способе безошибочной проверки кого-, чего-нибудь»<sup>106</sup>. Хотя словосочетание *лакмусовая бумага* может иметь и прямое значение («бумага, пропитанная настоем лакмуса»), но совершенно очевидно, что в наши дни анализируемое словосочетание в литературном языке употребляется гораздо чаще в переносном значении, чем в значении прямом. Здесь, разумеется, может помочь и статистика, и компьютер, но прежде всего — языковое чутье, отличное знание языка во всех его стилях и разновидностях. Это тем более важно, что, опираясь только на статистику, можно ошибиться: в научной литературе, в частности у химиков, *лакмусовая бумага* может чаще встречаться именно в прямом, а не в переносном значении.

Что же получается? Получается, что переносное (фигуральное) осмысление анализируемого словосочетания, само по себе более позднее сравнительно с его буквальным значением, передвигается на первый план и становится основным значением в литературном языке. Следовательно, если в этимологическом словаре самое старое значение всегда должно быть на первом месте словарной статьи, то в словаре толковом соотношение разных значений многозначных слов весьма часто меняется. Но и здесь хороший лексикограф, отметив прежде всего наиболее распространенное значение, должен показать процесс его образования, отталкиваясь от значения более старого.

Такой принцип показывает преимущество значений, что делает толковый словарь источником не только собственно лексических, но и общеобразовательных знаний.

Вопрос этот более важен, чем обычно считают. Во всех без исключения словарях современного французского языка существительное *революция* поясняется прежде всего как астрономический термин: «периодическое вращение небесного светила вокруг своей ор-

<sup>106</sup> Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1972. С. 290 (имеется ряд изданий).

биты»<sup>107</sup>. Этимологически так оно и есть. Но это — чисто этимологическое значение. Рожденное же примерно в середине XVI столетия новое значение — «переворот» — постепенно стало втягиваться в орбиту политического значения, которое к концу XVIII века стало основным значением слова *революция*. Вот почему толковый словарь современного языка неправомерно начинает перечислять значения этого слова с его астрономического значения, которое в наше время передвинулось как бы назад, в разряд специальных (терминологических) осмыслений. Поэтому и словарная статья *révolution* должна строиться иначе: новое значение слова оказывается теперь его основным, а остальные значения, включая и астрономическое, должны следовать за основным значением. Таков принцип словаря, если он действительно хочет оказаться словарем современного языка, словарем нашей эпохи.

Любопытно, как поступают словари других европейских языков, комментируя слово *революция*. Авторитетный испанский словарь поясняет: «*революция* (*revolución*) — «действие и результат переворота» (в природе или обществе не различается), затем следует астрономическое значение, лишь после которого — политическое<sup>108</sup>. Возникает своеобразный компромисс: начать прямо с политического значения словарь все же не решается, а астрономическое значение слова передвигается с первого на второй план. Дает о себе знать современность. А вот некоторые новые итальянские словари начинают прямо с политического значения: «*революция* (*rivoluzione*) — политическое движение, направленное на радикальное изменение социального строя общества». Затем следует «более широкое значение» («промышленная революция»), и только на третьем месте значение астрономическое<sup>109</sup>.

Как видим, новые значения старых слов не сразу

---

<sup>107</sup> См., например: *Le petit Robert. Dictionnaire*. Paris, 1977. P. 1558.

<sup>108</sup> *Vox. Diccionario general de la lengua española/Prólogo de D. Ramón Menéndez Pidal*. Madrid, 1976. P. 1474.

<sup>109</sup> *Dizionario Garzanti della lingua italiana*. Milano, 1984. P. 1492.

передвигаются в словарях на завоеванные ими же позиции. Между тем этот вопрос важен не только в лексикографическом, но и в культурно-историческом плане. Возникает проблема — словари и современность, их соотносительность.

Совсем иначе лексическая полисемия ведет себя тогда, когда ее умышленно переосмысляют в литературном языке, и прежде всего в языке писателей.

У хорошо известного английского писателя Джозефа Конрада один из его романов называется «Heart of Darkness» (1902) — букв. «Сердце тьмы», хотя основное значение каждого из этих слов, казалось бы, не допускает подобного соединения. Отсюда и трудности с переводом на другой язык: «Тьма в сердце», «Сердечное затемнение» или иначе? Но здесь следует отметить другое: сама полисемия почти каждого слова в литературном языке дает возможность писателю с определенным намерением «столкнуть» разные значения и предупредить читателей о неоднозначности замысла романа, который они только собираются прочитать. И хотя данный вопрос больше относится к поэтике писателя, индивидуальная полисемия была бы невозможной, если литературный язык не предоставлял бы автору подобной возможности. Сказанное, разумеется, не имеет никакого отношения к «двусмысленности языка».

Здесь вновь придется вернуться к проблеме «целостного определения» многозначных слов. Об этом уже шла речь раньше в связи с опытами, не так давно проведенными Р. О. Якобсоном. Теперь будет легче разобраться в проблеме после того, когда было по возможности разъяснено понятие основного значения слова.

Многие лингвисты вопрос ставят так. Наш век, век стремительного развития техники, широко оперирует понятием целостного значения (не всегда при этом учитываются важнейшие операции с бесконечно малыми величинами). Целостное должно существовать и в языке, в частности в его лексике и в его словаре. С этой позиции не следует различать основное значение многозначного слова и его последующие осмысления и все подобрать к «единому целому». Каждое слово будет иметь только одно значение.

«... древнерусский язык XI—XIV вв. и современный мы... принимаем за разные языки» (с. 19).

Обобщая, авторы «Инструкции» утверждают, что в диахроническом плане различные системы одного и того же языка в разные эпохи его бытования должны рассматриваться как состояния, относящиеся к одному языку, а в синхроническом отношении каждая система приравнивается к самостоятельному языку. Поэтому сколько систем у одного и того же языка, столько и отдельных языков. Каждая система — это особый язык (с. 19—20). Поэтому и словарь, описывая лексику одной системы, не имеет права обращаться за разъяснениями к лексике другой системы, хотя речь идет о системах внутри одного и того же языка. Независимо от намерений авторов «Инструкции» возникает концепция, несовместимая с исторической природой языка.

Само по себе стремление понять систему языка в ее данном, а не прошлом состоянии вполне понятно и не может вызвать возражений. Это полностью относится и к лексике. Но возникает другой, более сложный вопрос: можно ли считать лексику русского языка XI—XIV веков по отношению к его современной лексике лексикой другого, чужого языка? По «Инструкции» получается, что здесь мы имеем дело с разными языками. Я же убежден в противоположном: исследователь оказывается здесь перед проблемой разных систем одного и того же языка.

Этот вопрос имеет тем более общее и принципиальное значение, что он относится не только к русскому, но и к любому другому языку, имеющему историю и тексты, созданные на языке прошлых эпох. В свое время я стремился обосновать этот тезис на конкретном материале разных романских языков<sup>114</sup>.

Все сказанное имеет прямое отношение и к теории словаря: имеет ли право лексикограф, опираясь на синхронную систему современного языка и создавая словарь современного языка, вместе с тем обращаться за теми или иными справками к текстам более ранних эпох или он этого права не имеет, так как подоб-

---

<sup>114</sup> См.: Будагов Р. А. Сравнительно-семасиологические исследования. М., 1963.

ные тексты будто бы относятся уже к другому языку («разные языки»). Опыт лучших словарей многих стран показывает, что исследователь такое право, разумеется, имеет.

Но важно и другое. Обращаясь к прошлому, к более старым текстам, лексикограф обязан и понимать и чувствовать лексику современного языка. Он не имеет права приписывать ей то, что ей уже не свойственно. Обращение к старым текстам не должно привести к смещению синхронии и диахронии. Подобное обращение, напротив, обязано помочь читателям словаря глубже понять лексику современного языка, если сам словарь стремится прежде всего к этому. Выход за пределы современной лексики должен способствовать более успешному осмыслению именно современной, а не прошлой лексики. Обычно же считают, что синхрония и диахрония мешают друг другу. В действительности они помогают, а с помощью исследователя даже активно помогают друг другу. В этом трудность проблемы, но в этом же ее увлекательность и ее перспективность.

Как же следует группировать различные значения многозначных слов в словарной статье? В анализируемой «Инструкции» отмечается, что их следует группировать не генетически, не по принципу исторической последовательности возникновения тех или иных значений, а по принципу близости одного значения к «ближайшему другому значению» (с. 80). Это положение непосредственно обусловлено другим, согласно которому разные исторические периоды в развитии лексики принадлежат не одному языку, а разным языкам (с. 19).

Думается, однако, здесь следует различать исторические словари, где группировка значений должна опираться прежде всего на генетический принцип возникновения самих значений в отличие от толковых словарей современных языков, где принцип близости значений должен превалировать. Вместе с тем необходимо учитывать постоянное взаимодействие между обоими этими принципами. Такое взаимодействие сближает разные словари, хотя и неодинаковые по замыслу, материалу и размерам, но преследующие во многом сходные цели — изучение лексики того

или иного языка в ее связях и отношениях с культурой народа.

Поясню сказанное простыми примерами. Французское существительное *antenne* 'антенна' (лат. *antenna*) в старом языке означало «рея». Позднее, после XV столетия, оно стало обозначать «усики, щупальцы у насекомых» (ассоциация с торчащими палочками). Данное значение интернационального слова известно во многих языках, в том числе в английском, испанском, итальянском. Еще позднее, в XX веке, в связи с развитием радио и телевидения существительное *антенна* получает новую жизнь и приобретает новое основное значение — «часть радио- или телеустановки» (ср. «телевизионная антенна»). Это значение семантически ближе к значению *рея*, чем к более позднему — «усики, щупальцы насекомых». Однако промежуточное значение («усики, щупальцы у насекомых») тоже не проходит мимо формирования нового значения *антенны*: на первых порах развития радио сама радиомачта представлялась устройством, щупальцы которого улавливали звуки окружающего нас мира <sup>115</sup>.

Вот и судите: как распределять разные значения существительного *антенна* — по близости современных значений или в строго историческом плане? Общего ответа для всех слов здесь, разумеется, быть не может. Но, по возможности, необходимо учитывать оба принципа распределения значений в зависимости от состава словаря, его целей и объема. Хотелось бы, однако, особо отметить роль промежуточных звеньев в семантическом развитии слов (а не только их первых и последних звеньев), что, к сожалению, редко принимается во внимание даже серьезными исследователями.

Совсем в другой связи американский лингвист Ю. Найда приводит такой пример. Он рассматривает английское существительное *magazine* (арабского

---

<sup>115</sup> Ср., в частности, франц. *avoir des antennes* — букв. «иметь антенны» в значении «обладать острой чувствительностью» (Французско-русский фразеологический словарь/Под ред. Я. И. Рецкера. М., 1963. С. 58). Ср. в английском: *Roget's International Thesaurus of english words and phrases*. New York, 1934. P. 144 (*antenna* — organ of touch, *антенна* — орган осязания).

происхождения) и отмечает такие его значения: 1) журнал, 2) склад для военного снаряжения<sup>116</sup>. Вокруг каждого из этих значений развивается полисемия (с учетом американского варианта английского языка). Особенно широкой полисемия оказывается вокруг magazine 'журнал', настолько широкой, что Ю. Найда предлагает такое определение — «периодическая публикация, в переплетенном или сброшюрованном виде, имеющая относительно популярное содержание и броское оформление, например Time, Fortune, Sports...». К тому же magazine в этом своем значении вступает в тесные синонимические отношения с такими словами, как journal 'журнал' (преимущественно научный), brochure 'брошюра', publication 'публикация' и другими. В свою очередь, magazine 'военный склад' — теперь это и «магазинная коробка для патронов», «вещевой склад вообще» и ряд других значений<sup>117</sup>.

Даже независимо от того, как образовалась первоначальная полисемия magazine (1) 'журнал' и (2) 'военный склад', каждое из этих значений стало настолько широко обрастать новыми значениями, что первоначальная полисемия распалась. В современном языке сформировались два омонима: magazine 'журнал' и magazine 'военный склад'. К тому же у каждого из этих, теперь уже самостоятельных слов оказались и различные синонимы, и различные сферы употребления. Все это обязан учитывать лексикограф. Лексикография опирается в подобных случаях и на лексикологию, и на историю.

Чтобы разобраться в принципах разграничения полисемии и омонимии, необходимо учитывать и исследовать возможные промежуточные звенья в самой полисемии, если всякий раз рассматривать ее «крайние точки». Об этом бегло уже упоминалось раньше, теперь присмотримся к процессу более пристально.

Латинское существительное *calx* означает не только «известь», но и «цель, финиш». Чтобы понять, как

<sup>116</sup> Найда Ю. Процедуры анализа компонентной структуры // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. 14. С. 61—63.

<sup>117</sup> Ср.: The Oxford English Dictionary/Ed. by J. Murray, N. Bradley, W. Graigie and C. Onions. Oxford, 1933.

соединяются подобные «крайние точки» значений, нужно знать, что в древности на ристалищах мета ставилась известью или мелом. К цели, на которую ставилась известковая отметка, стремились состязающиеся бегуны. Так возникла ассоциация значений: 1) известь, 2) цель и финиш. Само же слово *calx* стало многозначным. Как тут еще раз не вспомнить замечание выдающегося филолога Мишеля Бреалья о том, что полисемия — источник приобретенной цивилизации<sup>118</sup>.

Обычно возражают: толковый словарь нельзя смешивать со словарем историческим, где уместны подобные комментарии. Смешивать действительно не следует, но понимать их взаимодействие совершенно необходимо. В толковом словаре подобный комментарий может быть предельно кратким в отличие от словаря исторического. К тому же при создании словаря любого типа не следует оставлять читателей в недоумении. Почему так? Почему возникла подобная полисемия? А забота о читателях словаря — первейшая обязанность лексикографа и лексикографии.

В этой же связи еще один пример. В том же латинском языке существительное *hasta* 'шест' имеет второе значение — «публичные торги», «аукцион». Но стоит только лексикографу сообщить своим читателям, что в древности шест или копье, воткнутое в землю, служило знаком продажи с торгов, как становится прозрачной и полисемия самого существительного *hasta*. История присутствует в самой синхронии определенной эпохи. И один лишь намек на подобную историю делает словарь не только источником слов, но и источником разнообразных знаний.

Но и здесь отнюдь не всегда так просто. В свое время выдающийся австрийский лингвист Г. Шухардт (1842—1928) показал, что для установления этимологии французского глагола *trouver* 'находить' из, как он предполагал, латинского *turbare* 'приво-

---

<sup>118</sup> Ср. частично сходный вид связи разных значений в современном английском *goal*: 1) цель, 2) место назначения, 3) финиш, а далее со спортивной специализацией: 4) ворота, к которым устремляются игроки, 5) гол (при забивании мяча в ворота противника).



дять в волнение', 'мутить воду' необходимо самым тщательным образом заняться историей реалий. Оказалось, что в древности рыбаки особым образом «мутили воду», чтобы поймать рыбу. Потребовалось понять, как именно мутили в те времена воду в промысловых целях. В результате соответствующих разысканий ученому удалось установить такой ряд семантических переходов: мутить воду > мутить воду, чтобы взбудоражить рыбу > взбудоражить рыбу, чтобы ее поймать > искать (вообще) для того, чтобы найти > искать что-либо > находить (франц. trouver 'находить')<sup>119</sup>.

Исследователь стремился установить путь семантического развития глагола, его отрыв от значения предметного к значению общему через целый ряд промежуточных звеньев. Разные смысловые звенья имеют важнейшие значения и в исторической семасиологии, и в этимологических разысканиях.

Как видим, подобные промежуточные смысловые звенья оказываются уже неизмеримо сложнее по сравнению с *известью* и *шестом*. К тому же этимология Шухардта натолкнулась на препятствие: переход *turbare* > *trouver* фонетически не подтверждается (долгое латинское *u* в романских языках, как правило, не знает этапа дифтонгизации). Пришлось прибегнуть к реконструкции.

Хорошо известное в греческом и латинском существительное *trōpus* 'иносказание', 'переносный оборот речи', 'троп' дает возможность реконструировать глагол \**trōpage* 'сочинять песню, арию', позднее «сочинять вообще», а еще позднее «находить». В одном ряду оказываются и такие, ставшие затем широко известными слова, как *трубадуры* и *труверы* — южные и северные поэты средневековой Франции, которые не только исполняли, но и как бы «находили» темы и музыку для своих песен.

<sup>119</sup> Schuchardt H. Romanische Etymologien. Wien, 1899. S. 59—222 (одна этимология *trouver* занимает 163 страницы исследования). Самый видный испанский филолог Менендес Пидаль тоже считал, что этимологические разыскания не должны сводиться к нахождению лишь «исходной формы», а должны превращаться в разыскания в области истории слов. См. об этом: Malkiel Y. Romón Menendez Pidal as etymologist//Historiography Linguistica. Amsterdam, 1984. Nr. 1/2. P. 343—345.

Этимология *trouver* поддерживается и другими романскими языками, где переход «находить песню», а затем и «находить вообще» хорошо известен. Так, например, современный румынский глагол *a afla* 'находить' первоначально осмыслялся как «выдуть на дудке песню» > «находить песню» > «находить ч.-л. вообще»<sup>120</sup>.

Как видим, обе приведенные этимологии чуть-чуть уязвимы: первая фонетически, вторая — самим принципом опоры на реконструированную форму глагола. Вместе с тем обе они очень интересны и показывают, какой сложный семантический путь со многими промежуточными смысловыми звеньями проходят даже слова, которые с первого взгляда кажутся такими простыми. Но эта простота кажущаяся. За ней — история слов и история вещей (в широком смысле). Что же касается некоторой уязвимости обеих этимологий, то она свидетельствует прежде всего о том, что сфера этимологических исследований остается открытой для будущих серьезных исследователей.

Но какое отношение имеет все сказанное к теории словаря? Самое прямое. Разумеется, в случае с *известью* и *финишем* легко в двух-трех словах объяснить читателям связь значений в словаре. В случае же с глаголом *trouver* это сделать несравненно труднее, а в чисто синхронном словаре, по видимому, и невозможно. Дело в том, что, когда лексикограф знает историю слов в связи с историей вещей и идей, ему гораздо легче распределить в словаре различные значения полисемантических слов, не выходя за пределы их собственно современных значений.

Даже тогда, когда история прямо не присутствует в словаре, она должна присутствовать в знаниях лексикографа и тем самым, хотя и косвенно, присутствовать и в словаре. Здесь же весьма существенна роль промежуточных смысловых (семантических) звеньев, которые должны свя-

---

<sup>120</sup> Pușcariu S. Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Heidelberg, 1905. S. 4. Подробнее в более новом словаре: Cioganescu A. Diccionario Etimológico rumano. Universidad de La Laguna. 1958. Fasc. 1. P. 11.

ать между собой разные значения многозначных слов и тем самым создать словарь, понятный всяким грамотным читателям. Такой словарь станет не только источником знаний языка, но в известной мере и общеобразовательным источником.

Даже если историческая последовательность и группировка значений не совпадают с их современной группировкой, первая всегда помогает разобраться во второй и помогает лексикографу в трудной работе по размещению разных значений, по определению основного значения каждого слова.

Показательны и словообразовательные связи слов. Итальянское существительное *arte* в средние века имело значения и «ремесло», и «искусство». В первом значении оно употребляется в наши дни уже редко, преимущественно во множ. числе — *arti* *meccaniche* 'ручные ремесла'. «Искусство» стало основным значением *arte*. Однако в производном образовании *artigiano* 'ремесленник' именно понятие «ремесла» напоминает нам о старом значении *arte*. Стала намечаться дифференциация между словами *artigiano* и *artista*. У Данте *artista* употребляется еще и в значении «ремесленник», и в значении «художник, писатель, артист»<sup>121</sup>. Учет подобных отношений в прошлом помогает понять полисемию и современного существительного *arte*: 1) искусство (основное значение), 2) умение, мастерство (в частности, мастерство рук ремесленника), 3) ремесло, профессия, преимущественно во множ. числе, 4) хитрость, т. е. умение, но уже со знаком минус (ср. *maie arti* 'уловка', 'лесть').

Как бы ни были сложны отношения между разными значениями многозначного слова, наличие у него основного значения — основного в данную, конкретную эпоху — не может быть взято под сомнение. Оно подтверждается не только бесчисленными фактами, но и самой природой языка,

---

<sup>121</sup> Siebzebner-Vivanti G. Dizionario della Divina Commedia. Milano, 1965. P. 25; Battisti C., Alessio G. Dizionario etimologico italiano. Firenze. V. 1. P. 309. См. раздел о современных итальянских словарях в кн.: Черданцева Т. З. Очерки по лексикологии итальянского языка. М., 1982. С. 101—129.

прежде всего его коммуникативной функцией. Поэтому рассуждения о том, что полисемия будто бы мешает коммуникативной функции языка, основаны либо на грубом отождествлении естественных языков человечества с искусственными языковыми системами, либо на простом недоразумении, на нежелании различать норму языка со случаями небрежного обращения с нею.

К ранее уже данному определению основного значения многозначного слова можно еще прибавить, что оно в меньшей степени обусловлено конкретным контекстом, чем другие значения того же слова.

### СЛОВАРИ, МОТИВИРОВКА СЛОВ И КУЛЬТУРА

Уже шла речь об отличии толковых словарей от словарей энциклопедических. Но и этот вопрос не такой простой, как иногда кажется.

Обычно различие между ними усматривается в том, что в первом случае акцент ставится на слова, а во втором — на вещи. Во многом меняется и состав самого словника. Затруднения возникают как бы с другой стороны. Хорошо известно, что слова и вещи находятся в постоянном взаимодействии. Как правило, нет слов, ничего не обозначающих (о таких словах, как *ведьма* или *домово́й*, речь пойдет дальше), как и нет вещей, не имеющих того или иного обозначения.

Конспектируя книгу Л. Фейербаха о философии Г. Лейбница, В. И. Ленин выписывает из нее следующее определение *названия* и сопровождает его замечанием «*bien dit!*» 'хорошо сказано!'. «Что же такое название? Отличительный знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы представить его себе в его тотальности»<sup>122</sup>. Таким образом, для В. И. Ленина, как и для Л. Фейербаха, *название* (слово) — это не просто знак, но совершенно особый знак, как бы представляющий предмет. *Название* (слово), ха-

---

<sup>122</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 74.

рактически предмет, вступает в своеобразное взаимодействие с самим этим предметом. Разумеется, не материально, а идеально.

Все это существенно и для лингвистической проблемы мотивировки слов, и для проблемы взаимодействия слов и вещей (в широком смысле) <sup>123</sup>.

Ранее я уже попытался разграничить толковые словари и энциклопедии. Теперь присмотримся, как в этом плане разграничиваются и одновременно взаимодействуют словари толковые и словари исторические.

И здесь возникают различные вопросы. Возможны ли «чисто» исторические словари или подобные словари должны быть одновременно и словарями современных языков? Опыт последних исчисляется уже столетиями, тогда как создание исторических словарей стало возможным лишь в прошлом столетии, после обоснования сравнительно-исторического метода и осмысления исторической природы языка. Возникла проблема исторического развития лексики, но мало кто понимал, что подобное развитие имеет свои закономерности. В 1927 году Л. В. Щерба справедливо говорил: «Совершенно очевидно, что каждый культурный народ должен следить за изменениями в словаре своего языка» <sup>124</sup>. Проблема стала приобретать не только лексикографическое, но и общекультурное значение.

В этом плане большой интерес вызывает история создания «Большого Оксфордского словаря английского языка» Джона Маррея (1837—1915) и его помощников <sup>125</sup>. Работа над ним была начата еще в 1878 году и завершена только в 1928 году. 50 лет напряженного труда привели к созданию в целом отличного двенадцатитомного исторического

---

<sup>123</sup> Попытка подробно осветить проблему мотивировки слова была сделана мной в книге «Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени» (М., 1978. С. 45—75). Здесь же дана история вопроса.

<sup>124</sup> Современная русская лексика. М., 1966. С. 75. (здесь в 1927 году при обсуждении словарей помещено выступление Л. В. Щербы).

<sup>125</sup> The Oxford English Dictionary, being a corrected reissue with a Introduction, Supplement and Bibliography of a New English Dictionary on historical principles/Ed. by J. Murray, H. Bradley, W. Graigie and C. Onions. Oxford, 1959. V. I—XII.

словаря английского языка. Позднее словарь неоднократно переиздавался как в полном виде, так и в виде различных сокращенных изданий, вплоть до однотомных Оксфордов. Словарь постоянно дополнялся и расширялся.

С какими же трудностями столкнулись создатели этого монументального словаря? Во введении к словарю, а позднее и в специальной брошюре Р. Тренча отмечалось, что создатели словаря хотели прежде всего быть его «собираателями, а не критиками». Принцип формирования «чисто исторического словаря» противопоставлялся принципу создания нормативного словаря<sup>126</sup>. И хотя в последующих изданиях Оксфордского словаря его нормативная часть все время расширялась, все же проблема соотношения между историческим словарем и словарем нормативным (толковым) теоретически так и осталась в стороне, специально не дебатировалась. Едва ли правомерным оказалось и другое противопоставление — принципа «собирания материала» принципу его «критического осмысления». Так как любой словарь не может охватить всю лексику развитого языка (она, как известно, безгранична), то самый принцип «собирания материала» предполагает его отбор, своеобразный отсев, что невозможно без его же критического осмысления.

И уже другой, знакомый нам нелегкий вопрос: где должны проходить хронологические границы современного английского языка? Что это — эпоха Шекспира или эпоха Байрона, или эпоха, гораздо более близкая к нашему времени? У создателей Оксфордского словаря мы не находим прямых ответов на эти вопросы, хотя примеры из Шекспира и Байрона представлены в словаре.

Вопрос более важен, чем обычно считается. Постараюсь это показать на примерах.

Создатели французского «Словаря XVII века» утверждают, что почти любой текст таких классиков, как Мольер или Расин, Корнель или Лафон-

---

<sup>126</sup> Trench R. On some deficiencies in our english dictionaries. Ed. 2. London, 1860. P. 4—5. Литература об Оксфордском словаре велика. См., в частности, раздел о нем в кн.: Ступин Л. П. Лексикография английского языка. М., 1985. С. 60—62.

тен, таит в себе больше языковых трудностей для современных французских читателей, чем на этом же языке тексты средних веков, в частности текст «Песни о Роланде» (XI век) или текст «Хроники» Жана Фруассара (XIV век). И это справедливо<sup>127</sup>.

В чем же тут дело? А дело в том, что, раскрывая текст «Песни о Роланде», современный интеллигентный француз сразу же видит, что это не язык, к которому он привык, а нечто другое, хотя и написанное по-французски. Чтобы разобраться в таком тексте, ему как минимум необходим особый словарь. Раскрывая же текст Мольера или Расина, читателю кажется, что здесь уже современный язык. В действительности это совсем не так, хотя создается впечатление, что «все понятно».

Вот здесь-то и оказывается, что многие, казалось бы, современные слова и словосочетания были чуть-чуть не такими, как сейчас, как в наше время. Подобные «чуть-чуть не так», как мы уже знаем, имеют огромное значение и в истории языка, и, в частности, в лексикографии. Мы уже имели возможность в этом убедиться на примерах из Пушкина («чуть-чуть не так»).

Приведу еще примеры, заимствованные из только что цитированных словарей Дюбуа-Лагана и Кейру. Казалось бы, всем известно, что означает существительное *caractère* 'характер', тем более что оно давно стало интернациональным. Между тем в XVII веке во Франции его основное значение было другим — «отпечаток, знак, след», а переносно — «почерк». У Мольера читаем: «ses pieds traçaient les caractères» 'его ноги оставляли следы'; «une lettre d'un beau caractère de femme» (Ларошфуко) 'письмо с четким женским почерком'<sup>128</sup>.

Как в подобных случаях должен поступить лексикограф? Само по себе существительное *характер*

<sup>127</sup> Dubois J., Lagane R. Dictionnaire de la langue française classique. Paris, 1960. P. V. Еще раньше аналогичное суждение в другом словаре: Caugou G. Le français classique. Lexique de la langue du XVII siècle. Paris, 1948. P. X.

<sup>128</sup> Ср. в греческом *характер* — первоначально «чеканщик». См.: Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Paris, 1980. V. 4. В русском *характер* 'чин' в XVIII веке (Смирнов Н. А. Западное влияние на русский язык в Петровскую эпоху. Спб., 1910. С. 319).

(сагастèге) не только не стало архаическим, но, напротив, получило самое широкое распространение не только во французском, но и в других европейских языках. Во французском же его основное значение довольно резко изменилось. Возникает вопрос: как расположить разные значения этого слова в словаре, если такой словарь стремится стать историческим? Вот здесь и сталкиваются два разных лексикографических принципа: хронологический и статистический (с опорой на современное употребление). Думается, что ответ на поставленный вопрос должен быть однозначным: в историческом словаре на первом (так называемом «черном») месте окажется старое значение, а в толковом словаре — новое значение, ставшее во многих языках уже общим значением.

Несколько схематизируя этапы семантического развития слова, можно наметить такие смысловые пути его развития: *знак* > типичный *знак* > *след*, идущий от человека > *признак*, типичный для человека > *признак*, распространяемый на всего человека > *характер* человека как совокупность его духовных свойств, проявляющих себя в его же поведении > *характер* (вообще, в том числе иногда и в отрыве от человека). Как видим, здесь не прямое движение от «конкретного к абстрактному», а более сложное, с новыми «падениями» к конкретному (например, *след* ноги) и новыми «подъемами» к более обобщенному.

Все эти этапы должны подтверждаться тщательным анализом текстов разных эпох.

Все сказанное требует от лексикографа хорошего знания большой и многогранной проблемы — истории слов в их взаимодействии с вещами (в широком смысле) и вещей (реалий, понятий) в их взаимодействии со словами.

Может ли, однако, исторический словарь охватить «все слова», как предполагали выдающиеся лексикографы?

В этом отношении показательна история создания знаменитого «Немецкого словаря» братьев Якова и Вильгельма Гримм. Над своим капитальным словарем братья начали работу в 1838 году, но первый его выпуск появился лишь в 1854 году, а за-



тем публикация затянулась на многие годы. Коллективными усилиями словарь был завершён только в 1960 году<sup>129</sup>. По замыслу его создателей, «Немецкий словарь» должен был включить «все слова», кроме тех, которые в современном языке совсем не сохранились. В этом случае мы оказываемся перед несколько иным пониманием «всех слов» сравнительно с тем их истолкованием, авторы которого стремились включить в исторический словарь и слова, не сохранившиеся в современном языке, но встречавшиеся в старых текстах.

Но из чего исходить: из современного языка, а затем двигаться вглубь, или от первых памятников данного языка, с тем чтобы постепенно прийти к современному языку? В обоих случаях возникают трудности. Чтобы создать такой исторический словарь, который содержал бы и современную лексику, и лексику прошлых эпох, необходимо предварительно создать словари каждой отдельной эпохи. Подобных же словарей пока ещё очень немного, даже для столь, казалось бы, изученных языков, как английский, французский и немецкий. То же следует сказать и о русском языке. Даже лексика XVIII века только теперь начинает серьёзно изучаться<sup>130</sup>.

В 70-х годах нашего столетия во Флоренции была проведена специальная международная конференция на тему о том, каким должен быть исторический словарь каждого языка, как его следует строить, как сделать его широкодоступным. Были высказаны самые различные точки зрения, но конференция так и не смогла дать никаких рекоменда-

---

<sup>129</sup> Grimm J., Grimm W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig, 1854—1961. В. 1—16. После смерти Якова Гримма в 1863 году (его брат скончался раньше, в 1859 году) каждый последующий том словаря редактировался одним из видных немецких ученых. См. об этом: Жирмунский В. М. История немецкого языка (изд. 5. М., 1965. С. 93) и специальную монографию о замечательном немецком филологе Якове Гримме: Hübner A. J. Grimm. Heidelberg, 1935.

<sup>130</sup> См. полезный библиографический справочник: Во м перский В. П. Словари XVIII века. М., 1986. Весьма ценный, ещё неоконченный «Словарь русского языка XI—XVII веков» (М., Наука) не содержит, однако, специальной лексической характеристики отдельных эпох.

ций, хотя важность подобных рекомендаций всячески отмечалась<sup>131</sup>.

Несомненно, однако, одно: последовательность распределения разных значений многозначных слов приобретает в исторических словарях тем большую роль, чем в большей степени подобные словари действительно хотят быть историческими не по своим декларациям, а на деле.

С проблемой распределения значений тесно связана и проблема этимологии каждого слова: от нее ли всегда следует «отталкиваться»? На разных языках существует немало словарей, казалось бы, строго синхронного плана, в которых все же приводится либо этимология каждого слова, либо этимология тех иностранных слов, которая не требует специального анализа. Так, например, сделано в четвертом том «Словаре русского языка» (изд. 2. М., 1981—1984). Здесь слово *ассимиляция* (лат. *assimilatio*) не комментируется в его семантическом развитии, хотя латинский источник обозначается. А вот существительное, скажем, *бахрома* подается без всяких этимологических обозначений, по-видимому, потому, что турецко-татарское *тахрата* 'вуаль для женщины', восходящее к арабскому *mahrata*, явно требует особого истолкования, если даже и принять эту, отнюдь не бесспорную этимологию<sup>132</sup>.

Так рождается компромиссное решение: там, где этимология представляется лексикографу как бы лежащей на поверхности и не требует комментариев (в действительности почти любая этимология их требует), там она дается. В других же, более сложных случаях (а их большинство) этимология совсем не дается. С практической точки зрения подобный компромисс и понять и оправдать можно (потребность в доступных словарях огромна), хотя теоретическая позиция лексикографа в идеале должна быть более строгой и более последовательной.

Хорошо известно, что этимология как особая область языкознания сама по себе сложна и много-

---

<sup>131</sup> Материалы конференции опубликованы в кн.: *Table ronde sur les grands dictionnaires historiques*. Firenze, 1973.

<sup>132</sup> Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1964. Т. 1. С. 137.

аспектна. Еще сложнее вопрос о том, как она должна быть представлена (или совсем не представлена) в толковых словарях. Ведь авторам толковых словарей необходимо определить или объяснить прежде всего современные слова, по возможности во всех их значениях и типичных употреблениях. Куда уж тут до этимологии! Так часто думают даже специалисты. К тому же ссылаются на размеры словаря — для этимологии нет места.

Все это реальные трудности, и с ними нельзя не считаться. Как мы уже знаем, имеются и разные типы словарей, а этимологиями могут заниматься специальные этимологические словари отдельных языков или группы родственных языков. Все это справедливо, и против таких доводов возражать нелегко. И все же и в толковых словарях читателям, даже совсем далеким от филологии, часто хочется узнать: «откуда это слово?», «что оно означает?». При этом современные значения слов, вызывающих подобные вопросы, читателям часто известны. И все же...

Разумеется, здесь многое зависит и от чисто технических причин, в частности от размеров того или иного словаря.

Когда И. Короминас, автор большого этимологического четырехтомного «Словаря испанского языка» упрекает В. Мейер-Любке в том, что в этом одготомном этимологическом словаре всех романских языков семантические толкования «слишком фрагментарны и не всегда ясно изложены», то подобный упрек следует признать несправедливым<sup>133</sup>. Короминас располагал четыремя большими томами для одного языка, тогда как Мейер-Любке создал свой словарь в одном томе и при этом попытался учесть материал всех романских языков. Другой вопрос, что проблема этимологических толкований не зависит только от книжного пространства, предлагаемого для такого рода толкований. Решающее значение здесь имеет методологическая позиция: как понимает лексикограф за-

<sup>133</sup> Corominas J. Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Bern, 1954. V. I. P. XXIV; Meyer-Lübke W. Romanisches Etymologisches Wörterbuch. Aufl. 3. Heidelberg, 1935.

кономерности семантического развития лексики в целом и отдельных слов, включаемых в словарь.

Поэтому, если уж и упрекать Мейер-Любке, создавшего для своего времени ценный этимологический словарь романских языков, то упрекать не за краткость этимологических толкований, а за невнимание к общим семасиологическим проблемам лексики. Мейер-Любке считал, что в этимологических разысканиях все определяется фонетическими законами, а семасиология представлялась ему сферой субъективных размышлений, о чем он же писал в другом своем исследовании<sup>134</sup>. При всем огромном значении фонетических законов, в особенности для таких языков, как романские (их источники сравнительно хорошо известны), постановка вопроса у Мейер-Любке оказалась односторонней.

Всем этимологам известна и другая сложная проблема — соотношение исконных и заимствованных слов. Как подобное соотношение демонстрировать в словарях, особенно в словарях этимологических? К сожалению, обсуждение этой проблемы весьма часто окрашивается в националистические тона: в нежелание замечать заимствованные слова и в стремление все слова обнаружить на родной почве. При несомненном значении родной почвы для каждого языка вместе с тем нельзя уменьшать значения контактов между языками, в свою очередь обусловленных контактами между народами и их культурами. От лексикографа и здесь требуются большие знания и большой такт в освещении и истолковании самой проблемы заимствованных слов и словосочетаний.

Когда в 1928 году вышел большой «Этимологический словарь французского языка» немецкого лингвиста Е. Гамильшега, то широко известный австрийский филолог Лео Шпитцер откликнулся на не-

<sup>134</sup> Meyer-Lübke W. Das Katalanische. Seine Stellung zum Spanischen und Provenzalischen. Heidelberg, 1925, S. XII. Критические замечания об упомянутом словаре Мейер-Любке см. также: Pfister M. Einführung in die romanische Etymologie. Darmstadt, 1980. S. 3. Новую постановку вопроса о законах в языкознании, в том числе и фонетических, предлагает нидерландский лингвист Н. Коллиндж. Он насчитал в индоевропейских языках 60 законов: Collinge N. The laws of Indo-European. Amsterdam, 1985. P. 270—300.

го в резко отрицательной рецензии, где упрекал автора в переоценке роли заимствованных слов и в стремлении «искать этимологии» не на родной почве данного языка. По мнению Шпитцера, только исчерпав все «местные возможности», можно обращаться к заимствованиям. По существу, Шпитцер был прав, хотя Гамильшег с ним не согласился и в столь же резкой форме обвинил своего критика в непонимании проблемы контактов между разными языками и культурами<sup>135</sup>.

Проблема соотношения национального и интернационального в лексике разных языков сложна, и дискуссии на эту тему возникали не только в прошлом. Они возникают постоянно и в наше время. Проблема сложна и для этимологических словарей в особенности, авторы которых должны занимать здесь, как, впрочем, и в других случаях, четкую методологическую позицию. Отмечу, что отсутствие подобной четкости — одна из причин сложности создания этимологических словарей разных языков.

Вот один из примеров подобной сложности. В первой половине нашего столетия в Италии было опубликовано несколько этимологических словарей разных авторов. А вот оценка этих словарей, данная видным итальянским лингвистом В. Пизани: «Мешанина..., не имеющая никакого значения»<sup>136</sup>. И хотя подобная оценка излишне сурова и недостаточно самокритична (перечисляемые Пизани словари во многом полезны), она все же показывает, насколько сложна сама проблема создания этимоло-

---

<sup>135</sup> Gamillscheg E. Etymologisches Wörterbuch der französischen Sprache. Heidelberg, 1928. Рецензия Л. Шпитцера в «Zeitschrift für romanische Philologie». Tübingen, 1928. В. 48. S. 17—22.

На страницах этого журнала велась острая полемика между двумя названными специалистами и позднее.

<sup>136</sup> Пизани В. Этимология. История, проблемы, метод. М., 1956. С. 172. Исключение сделано лишь для словаря Г. Каппучини и Б. Мильборини (Vocabolario della lingua italiana. Turin, 1945), хотя он и не специально этимологический словарь, а скорее толковый. В наши дни в издательстве «Наука» печатается капитальный «Этимологический словарь славянских языков. Прагославянский лексический фонд»/Под ред. О. Н. Трубачева. До 1987 года опубликовано 13 выпусков.

логических словарей даже для языков, сравнительно хорошо изученных, располагающих большим количеством самых разнообразных текстов.

Вопрос о том, как отражать и осмыслять в словаре проблему соотношения национальных и интернациональных элементов в лексике, сложен не только для этимологических, но и для толковых словарей. К тому же многие интернациональные слова настолько органически вошли в лексику, в частности русского языка, что остаются интернациональными лишь в этимологическом плане и уже национальными в синхронном плане, или, если угодно, в плане функциональном.

Вот только один пример. В хорошем для своего времени четырехтомном «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (1934—1940) такие существительные, как *принцип, тенденция, перспектива, престиж, мораль*, как и сотни других интернациональных слов, даны с пометкой «книжные». Между тем в наше время такие и им подобные слова стали настолько обычными в литературном языке, что утратили не только свой специальный «книжный отпечаток» (они широко бытуют и в разговорной речи), но и отпечаток иноземный. Разумеется, этимологически они остаются в индоевропейских языках интернациональными словами, но синхронно и функционально в русском языке стали как бы уже своими. Это «как бы», конечно, весьма существенно, так как в толковом словаре, в отличие от словаря этимологического, столкновение двух отмеченных принципов неизбежно. И с ним обязан считаться лексикограф.

Трудности, возникающие при этимологических справках в толковых словарях, оказываются весьма разнообразными. Помимо уже отмеченных, следует обратить внимание и на другие.

Как мы уже знаем, среди разных истолкований задач этимологии, выделяются два основных: 1) этимология — это только источник данного слова, 2) этимология — это не только источник данного слова, но и его смысловая (в первую очередь) история. В традиции советской этимологической науки всегда улавливается второе, более трудное, но гораздо более интересное истолкование этимологии.

Только при таком ее осмыслении этимология выходит на уровень проблемы «этимология и культура». Вместе с тем вопрос о том, как разместить подобную историю слов на страницах толковых словарей, все еще остается сложной проблемой<sup>137</sup>.

Я уже не говорю о том, что большое количество слов индоевропейских языков, даже наиболее изученных, не имеет общепризнанных этимологий. В свое время Мейер-Любке и Вартбург считали, что только в романских языках неясных этимологий не менее двадцати пяти процентов общелитературной лексики. Примерно об этом же соотношении свидетельствуют и современные данные, собранные в словаре П. Гиро<sup>138</sup>.

Вместе с тем не все слова нуждаются в подробных этимологических справках. Не говоря уже о звукоподражательных словах типа *кукушка* или *хохот*, которых немало во всех языках, нужно не забывать и о словообразовательных связях слов. Если этимология таких, например, слов, как *дерево* или *дом*, ясна, то прозрачными оказываются и мотивировки таких слов, как *деревянный* и *домашний*. Сложность обычно возникает при истолковании так называемых исконных слов. Здесь-то и приходится решительно разойтись с Соссюром и его принципом «произвольности языкового языка» — принципом, который в другой связи был справедливо назван Р. О. Якобсоном «соссюровской догмой». Она, как и всякая догма, нуждается в опровержении<sup>139</sup>.

<sup>137</sup> Нужно отметить, что и авторы лучших современных зарубежных этимологических словарей стремятся к сближению, а нередко и отождествлению этимологии и истории слов. См., например, отличный четырехтомный словарь греческого языка: Chantaine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris, 1968—1970. V. I—IV. Прав был Б. А. Ларин, когда упрекал М. Фасмера, что в его ценном и нужном словаре самым слабым местом остается семасиологическая часть (см. предисловие Б. А. Ларина к первому изданию «Этимологического словаря русского языка» Макса Фасмера. М., 1964. Т. I. С. 9).

<sup>138</sup> Guiraud P. Dictionnaire des étymologies obscures. Paris, 1982; Meyer-Lübke. Romanisches Etymologisches Wörterbuch. Aufl. 3. Heidelberg, 1935. S. 2—3.

<sup>139</sup> Jakobson R. A la recherche de l'essence du langage//Diogène. Paris, 1965. No 51. P. 20. Об этом же: Wartburg W. Einführung in Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft. Tübingen, 1962. S. 192.

Еще одна, уже известная нам, трудная для лексикографа проблема — быстрое развитие лексики. Развитие не только количественное, но и качественное, когда, казалось бы, старые слова получают новое осмысление или новые, ранее незарегистрированные значения.

«Словарь современного русского литературного языка» в семнадцати томах (1948—1965 гг.) уже через десять лет стал нуждаться в дополнениях, исчисляемых в нескольких десятках тысяч слов и словосочетаний. Немало потребовалось и уточнений<sup>140</sup>. Хотя некоторое количество устаревших или недокументированных слов должно быть из словаря устранено, все же сама цифра новых образований и уточненных в своей семантике слов заставляет серьезно задуматься над стремительным развитием лексики. Как подобное развитие осмыслить и представить в новом издании словаря, как поспеть за такой стремительностью?

Когда в 1964 году было завершено издание большого шеститомного словаря французского языка П. Робера, то уже в 1970 году, т. е. всего только через шесть лет, потребовался дополнительный том к этому словарю, содержащий около тридцати тысяч словарных статей<sup>141</sup>. По подсчетам исследователя испанского языка Норда, за период с 1975 по 1982 год, т. е. за семь лет, в лексике испанского языка появилось свыше десяти тысяч новых слов или старых слов в новых значениях (полностью или частично), которые обязан продумать и учесть серьезный лексикограф<sup>142</sup>. Известное французское издательство Ларусс, постоянно публикующее различные словари, установило, что за период с 1949 по 1960 год, за двенадцать лет, в составе так называемого «Малого Ларусса» (толковый словарь) у 3 200 слов изменились их основные значения, а у 4 300 слов при-

---

<sup>140</sup> Филин Ф. П., Сорокалетов Ф. П., Горбачевич К. С. О новом издании «Словаря современного русского литературного языка» // Вопросы языкознания, 1976. № 3. С. 8.

<sup>141</sup> Dictionnaire Robert, Supplément. Paris, 1970. А в 1985 году этот словарь вышел уже в девяти томах.

<sup>142</sup> Nord Ch. Neueste Entwicklung im spanischen Wortschatz. Rheinfelden, 1983. S. 220.



шлось либо иначе определять их значения, либо их же уточнять <sup>143</sup>.

Как известно, особенно быстрыми, даже стремительными темпами развивается лексика разговорной речи. Возникает необходимость в особых словарях подобной лексики. Они были известны и раньше. Но широко стали публиковаться в разных странах за последние два-три десятилетия <sup>144</sup>. Возникает еще почти не исследованная проблема: неологизмы литературного языка в отличие от неологизмов разговорной речи. К ним еще придется вернуться.

Все это, разумеется, имеет прямое отношение и к социологии языка, и, в частности, к социологии лексикографии.

## О НЕКОТОРЫХ ЗНАМЕНИТЫХ СЛОВАРЯХ

Обратимся теперь к тому, как некоторые из ранее затронутых теоретических и практических вопросов реализовывались в индивидуально знаменитых словарях разных языков. Мой материал не выходит за пределы индоевропейских языков.

Монументальный словарь, если он создается одним лицом, обычно бывает делом всей его жизни. И даже тогда, когда авторы таких словарей известны нам и по другим своим исследованиям, нередко весьма многочисленным, все же работа над словарем проходит через многие годы их жизни. Так было у нас с Далем, у немцев с Паулем, у французов с Литтре, у итальянцев с Мильорини, у швейцарцев с Вартбургом и т. д.

---

<sup>143</sup> Dubois J., Dubois Cl. Introduction a la lexicographie: le dictionnaire. Paris, 1971. P. 3—5. Примерно такая же картина в румынском языке. В «Словаре новых слов», возникших в 1960—1980 годах, выделяются: 1) новые значения старых слов, 2) новые образования из уже существующих слов, 3) заимствования из других языков (Dimitrescu F. Dicționar de cuvinte recente. Bucurește, 1982, в словаре 535 страниц).

<sup>144</sup> У нас такие словари только начинают появляться. См., в частности, тщательно составленный и полезный словарь: Гринева Е. Ф., Громова Т. Н. Словарь разговорной лексики французского языка (на материале современной художественной литературы и прессы, около 9 тысяч слов). М., 1987.

И вот что интересно. Несмотря на то что словарь В. Даля вышел, как мы уже знаем, свыше ста двадцати пяти лет тому назад (первая публикация — 1861—1866 годы), он до сих пор остается символом всякого толкового словаря русского языка. И в наше время можно постоянно слышать: «посмотрю у Даля», «у меня есть Даль». И это несмотря на его «областническую» ориентацию и на его давность. То же можно сказать о немецком словаре братьев Гримм или о французском словаре Э. Литтре. В подобных случаях словари приобретают общенациональное значение. И хотя позднее выходили новые, нередко гораздо более современные и обширные словари, все же имена названных авторов продолжают оставаться не только символами словарей вообще, но и символами культуры данного народа.

Трудно переоценить большое значение словаря Даля для русской культуры. Им широко пользовались великие писатели второй половины минувшего столетия. Его постоянно раскрывают и наши современники. Вместе с тем Даль как лексикограф столкнулся с многочисленными трудностями, на некоторые из которых обратил внимание И. А. Бодуэн-де-Куртенэ, редактируя третье и четвертое издания словаря Даля (1909 и 1913 годы).

Дело в том, что Даль в своем словаре попытался объединить алфавитный принцип расположения слов с принципом их «корневого сближения». Он хотел, по его же выражению, чтобы слова «не томилась в одиночестве», а были как-то между собой связаны. У прекрасного знатока русского языка уже в те времена возникло ощущение системного характера лексики, хотя подобное ощущение выражалось еще наивно — не допускать «томления слов» в одиночестве<sup>145</sup>. Но в отличие от некоторых современных языковедов, отрицающих, как мы уже знаем, всякую самостоятельность отдельных слов, Даль прекрасно понимал и самостоятельность отдельных слов, и их взаимодействие друг с другом.

<sup>145</sup> Ср. книги о В. Дале: Бессараб М. Владимир Даль. М., 1972; Канкава М. В. В. И. Даль как лексикограф. Тбилиси, 1958. Подробная биография В. Даля рассказана в книге: Порудоминский В. Даль. М., 1971.

Не говорю уже о том, что любой толковый словарь был бы вообще невозможен, если бы каждое слово не обладало в той или иной степени известной самостоятельностью.

Объединить, однако, алфавит с корневым сближением слов оказалось нелегко. Непоследовательность Даля в этом отношении убедительно показал тот же Бодуэн в предисловии к третьему изданию далевского словаря, которое он редактировал.

Вот примеры Бодуэна. Имя существительное *багровость* дается в словарной статье под именем прилагательным *багровый* 'густого красного цвета'. Существительное *ботушки* 'лепешки' — в словарной статье, посвященной глаголу *ботать* 'качать', 'двигать взад и вперед или вверх и вниз'. Читатели, ищущие в словаре *ботушки*, сами должны догадаться, где обнаружить это слово, а глагол *ботать* находится от *ботушки* сравнительно далеко в алфавитном порядке. Не приходится говорить, что без промежуточных смысловых звеньев связь между *ботушки* и *ботать* читателям понять трудно. Вот почему Бодуэн в своей редакции словаря Даля был вынужден ввести множество отсылочных слов, чтобы облегчить поиски нужного слова.

И все же сама попытка В. Даля как-то объединить алфавитный и гнездовой принципы расположения слов в словаре несомненно заслуживает внимания. Она шла навстречу самому замыслу автора, согласно которому хороший словарь должен научить читателей понимать жизнь народа<sup>146</sup>. Поэтому и слова в словаре не должны «томиться» в одиночестве, а, взаимодействуя друг с другом, должны показывать читателям весь круг понятий или представлений, связанных с данным словом. Этому и способствовал гнездовой принцип, как бы собирающий разные слова, взаимодействующие по смыслу. При этом грамматика подчинялась семантике: разные части речи оказывались в одной словарной статье, сформированной по смысловому признаку, истолкованному весьма широко.

---

<sup>146</sup> Об этом в другой книге самого Даля: Пословицы русского народа. Сборник Владимира Даля. М., 1862. С. 3.

Следует обратить внимание и на смысловые оттенки, которые Даль великолепно понимал, всякий раз обнаруживая глубокое знание народной речи. Вот, например, полное пояснение уже упомянутого прилагательного *багровый* — «червлёный, пурпуровый, самого яркого и густого красного цвета, но никак не с огненным отливом, а с едва заметною просинью; а говоря о пятнах, подтеках на теле, с синевою».

Здесь не знаешь, чему больше удивляться: то ли великолепному знанию окружающего нас мира с его гаммой цветовых оттенков, то ли владению анатомией человеческого тела, то ли пониманию неисчерпаемых ресурсов народного языка. В самом деле: не просто «яркого цвета», но «яркого и густого цвета» (тонкая градация!), но хотя и «густого», но отнюдь «не с огненным оттенком», а если и без такого оттенка, то с «заметною просинью», которая, в свою очередь, в определенных, тоже обобщенных случаях, оборачивается «синевою».

Как все это необходимо знать всем тем, кто, считая себя лингвистом, объявляет, однако, настоящую войну оттенкам при определении значений слов. Между тем именно оттенки в лексике и грамматике, как мы уже знаем, формируют душу языка, дают ему возможность выступать в функции «непосредственной действительности мысли».

Словарь Даля примечателен еще в одном отношении: будучи словарем *толковым* уже в своем названии, он вместе с тем дает читателям сведения не только о словах, но и о вещах, о быте и культуре народа, о его нравах, о его труде так, как это выражается в словах и в словосочетаниях.

Всячески выражая свою любовь к живой русской речи, В. Даль, однако, был склонен недооценивать литературный язык, который казался ему искусственным образованием. Такое убеждение дало о себе знать и в его словаре. Он получился (при всех его неоспоримых достоинствах) словарем областническим (мы уже знаем, это точная ленинская характеристика словаря).

К сожалению, как я уже отмечал, взгляд на литературный язык как на образование будто бы совершенно искусственное широко бытует и в наше

время среди лингвистов, которые, во-первых, отождествляют естественные языки человечества с кодовыми построениями, во-вторых, отрицают возможность воздействия людей, в особенности их выдающихся представителей, на норму литературного языка и уровень его развития и, в-третьих, не хотят и не умеют рассматривать язык как «непосредственную действительность мысли». Между тем роль литературных языков в развитии культуры всех народов, располагающих литературными языками, огромна. Ее невозможно переоценить<sup>147</sup>.

Позиция В. Даля по вопросу о русском литературном языке оказалась уязвимой. Но она была вызвана совсем другими причинами сравнительно с теми, которые выдвигаются современными теоретиками кодовых построений. В. Даль стремился к другому. Он мечтал поднять престиж общенародного русского языка, показать его неисчерпаемые ресурсы, богатейшую синонимику, его многообразные связи с культурой и бытом народа. И с этой задачей прекрасно справился. Но, к сожалению, в этом своем стремлении он не учитывал, что литературный язык возникает в определенную эпоху тоже на основе общенародного языка, хотя во многом и оказывается качественно иным образованием.

Недоверчивое отношение к литературному языку у Даля привело к ряду отрицательных последствий. Неоднократно возникал вопрос: откуда Даль черпал примеры для своего словаря? Автору казалось ясным — из народного языка. Но как это следовало делать, в особенности в ту эпоху? А как быть с примерами и иллюстрациями? Ведь еще Вольтер в 1760 году в письме к Шарлю Дюкло справедливо заметил, что словарь без литературных примеров — всего лишь скелет языка, без его плоти и крови<sup>148</sup>. Между тем В. Даль сторонился литературного языка и не мог следовать за этим разумным правилом.

Уже у современников Даля возникали сходные вопросы. Так, А. Н. Пыпин, видный знаток русского народного быта и не менее видный историк лите-

<sup>147</sup> Подробно об этом в моей монографии «Литературные языки и языковые стили» (М., 1967).

<sup>148</sup> Державин К. Н. Вольтер. Жизнь и творчество. М., 1946. С. 451.

ратуры, высоко оценивая словарь Даля в целом, все же считал, что многие слова, включенные в словарь, выдуманы его автором<sup>149</sup>. Отзыв Пыпина, впервые сделанный еще в процессе публикации словаря, глубоко взволновал Даля. В конце четвертого, последнего тома своего словаря он заверял читателей, что все слова, включенные в словарь, подлинные, им самим услышанные или зафиксированные в народных текстах.

Свою позицию Даль стремился подтвердить тем, что «словарник не законник, не установщик, а сборщик»<sup>150</sup>. Но это положение стало противоречить другому положению Даля, согласно которому лексикограф не имеет права лишь бездумно располагать слова по алфавиту. Он должен показать и доказать, что слова в языке не «томятся» в одиночестве. Следовательно, лексикограф не только «сборщик», но и человек, который осмысляет жизнь слов, стремится фиксировать их в их же внутреннем взаимодействии. Отсюда и алфавитно-гнездовой принцип расположения слов, проходящий через весь словарь Даля.

Принцип, согласно которому лексикограф только «сборщик», оказывается принципом, по существу своему смертельным для самой лексикографии. «Сборщик» не может создать словарь, если он только «сборщик». «Сборщик» не знает и не может знать, что такое отбор слов для словаря, их классификация, порядок расположения разных значений у многозначных слов, соотношение между словами и словосочетаниями, принципы грамматической характеристики слов, подбор иллюстраций, отношение к устойчивым речениям и очень многое другое. К счастью, В. Даль вопреки своему же заявлению был в своем словаре не только «сборщиком», но и «оценщиком», умело судившим о тех словах, которые он помещал в свой словарь.

---

<sup>149</sup> Пыпин А. Н. История русской этнографии. Спб., 1890. Т. 1. С. 346. По сравнению с ранее опубликованным «Словесным отделением российской Академии» «Словарем церковнославянского и русского языка» (Спб., 1847), словарь Даля содержал вдвое больше слов.

<sup>150</sup> Приведено у Я. Грота (Грот Я. К. Филологические разыскания. Изд. 2. Спб., 1870. Т. 1. С. 45).

И все же Даль опирался прежде всего на общенародный, а не на литературный язык.

В предисловии к ранее уже цитированной книге Даля «Пословицы русского народа» он сравнивает литературную поговорку «Десять раз примерь, один раз отрежь» с народной поговоркой «Десять раз примерь или прикинь, одна́в отрежь» и комментирует: первая (литературная) возникла на основе второй (народной) поговорки. По мнению исследователя, литературный язык «немного исказил» народную поговорку, так что «потускнела ее образность». Здесь, однако, происходит другое: в форме поговорки по-разному передается сходная мысль, разными языковыми средствами, более строго нормированными в литературной форме, более свободными в народной форме. То же следует сказать и о другом примере Даля: «дважды три» в литературной норме, «двою трою» в народной традиции.

Все это говорится, разумеется, не для упреков по адресу Даля и его словаря, а лишь для того, чтобы показать всю важность проблем, обсуждавшихся уже в его время, да и значительно раньше, и сохраняющих свою актуальность и в наши дни. Что же касается словаря Даля, то он сохраняет всю свою ценность, все свое значение и в нашу эпоху. И не только ценность лексикографическую, но и общенациональную, как один из важнейших источников наших знаний о жизни и культуре народа определенной эпохи, о его языке.

Даль, разумеется, был прав, отмечая зависимость литературных поговорок от поговорок народных. Но проблема не сводится к искажению первых на фоне вторых (такие случаи возможны, но они уже нехарактерны для нового времени). Проблема имеет и собственно лексикографический аспект: в какой степени поговорки и «крылатые слова» могут способствовать лучшему пониманию самих слов и их значений в рамках толковых словарей? Априори можно утверждать, что многие из них успешно выполняют эту задачу, но далеко не все. И здесь требуются тщательные размышления лексикографа, чтобы не приводить поговорок, хотя и интересных самих по себе, но не способствующих лучшему пониманию семантики слов.

В середине минувшего столетия немецкий филолог Г. Бюхманн попытался разграничить пословицы и «крылатые слова». Хотя само словосочетание «крылатые слова» приписывается еще Гомеру, но Бюхманн стремился придать «крылатым словам» более специальный смысл — яркие, запоминающиеся изречения, авторами которых обычно бывают большие писатели, мыслители, ученые. Книга Бюхманна, впервые вышедшая в 1864 году, имела огромный успех и выдержала несколько десятков изданий<sup>151</sup>. Вскоре и в других странах стали появляться многочисленные публикации, обычно под тем же названием — «Крылатые слова»<sup>152</sup>. Далю «крылатые слова» оказались ненужными, по-видимому, прежде всего потому, что они ассоциировались с литературным языком. Здесь нельзя не отметить известную непоследовательность Даля, который был не только лексикографом, но и знатоком русской художественной литературы, незаурядным писателем-беллетристом<sup>153</sup>.

Между тем для словарей, опирающихся прежде всего на литературный язык, не только пословицы, но и «крылатые слова» могут сослужить полезную службу в раскрытии разных значений и употреблений слова. Так, *металл*, казалось бы, только определенное «химическое вещество», но рядом поставленное «крылатое выражение» — «*презренный металл*» (деньги) — способно обнаружить и другие значения самого *металла*, вступающего во взаимодействие с различными определениями (ср.: *благородный металл* или *металлы*).

Таковы лишь некоторые теоретические проблемы, возникающие в связи с замечательным словарем Даля.

Нечто сходное произошло и в истории французской культуры, где в минувшем веке символом самого понятия *словарь* на протяжении нескольких

<sup>151</sup> B ü c h m a n n G. Geflügelte Worte. Der Citatenschatz des deutschen Volkes. Aufl. 17. Berlin, 1892.

<sup>152</sup> У нас, помимо старых ценных сборников М. Михельсона и И. Иллюстрова, см.: Ашуккин Н. С., Ашуккина М. Г. Крылатые слова. М., 1987. Несколько раньше: Заимовский С. Г. Крылатое слово. Справочник цитаты и афоризма. М.; Л., 1930.

<sup>153</sup> См. главу «Проза 40-х годов XIX века» в коллективной «Истории русской литературы» (М., 1955. Т. 7).



десятилетий был большой четырехтомный словарь Эмиля Литтре (1801—1881), впервые опубликованный в 1859—1872 годах <sup>154</sup>.

Как я уже отмечал, Э. Литтре считал себя учеником философа и социолога Огюста Конта (1798—1857). И подобно Конту во Франции и А. Шлейхеру в Германии Литтре рассматривал язык с биологических позиций. Он считал, что язык живет и развивается по законам, общим для всех живых организмов. Исследователь признавался, что материал для своего словаря собирал на протяжении пятидесяти лет. Историю его создания он рассказал в предисловии к нему и в специальной брошюре под названием «Как я создал словарь» <sup>155</sup>.

В чем же ценность и каковы особенности словаря Литтре и почему он стал символом всякого хорошего словаря во Франции? Многие филологи считают, что французская научная лексикография начинается именно со словаря Литтре. Все остальные, гораздо более ранние, в том числе и академические словари — это только предыстория <sup>156</sup>. Литтре действительно собрал огромный материал (в четырех томах свыше тысячи печатных листов) и попытался широко его иллюстрировать. И хотя у Литтре были официальные помощники (жена и дочь), получавшие от издательства «Ашет» ежемесячное жалование, все же словарь оказался результатом большого труда прежде всего самого Литтре. Речь идет не только о собранном и документированном материале, но и попытке его осмыслить с лексикографической позиции.

Окончив работу над словарем, Э. Литтре обратился к своим современникам: «О, мои друзья! Помните, что создать большой хороший словарь чрезвычайно трудно. Прежде всего надо быть влюб-

---

<sup>154</sup> Littré E. Dictionnaire de la langue française. Nouvelle édition. Paris, 1878, préface. P. 2—39.

<sup>155</sup> Littré E. Comment j'ai fait mon «Dictionnaire de la langue française». Paris, 1897 (первое издание брошюры вышло в 1888 году, уже после смерти автора). В дальнейшем цифры в скобках — сноски либо на эту брошюру («Как я создал»+страница), либо на предисловие к словарю («Предисловие»+страница).

<sup>156</sup> Rey A., Littré E. L'humaniste et les mots. Paris, 1970 («Directions bibliographiques»).

ленным в родной язык и не забывать о его неисчерпаемых — поистине неисчерпаемых! — возможностях. Не беритесь за создание словарей. Они требуют всей жизни» («Как я создал...», с. 46). Литтре действительно сумел показать «неисчерпаемые возможности языка», и в этом прежде всего его заслуга. В таком плане работу Литтре можно сравнить с работой Даля, точно так же сумевшего показать неисчерпаемые возможности своего родного языка (и хронологически оба лексикографа близки). Вместе с тем исходные позиции обоих авторов оказались во многом различными: Даль, как мы видели, опирался на общенародный язык, тогда как Литтре — на язык литературный, на тексты писателей разных эпох.

Парадоксальность положения, однако, в том, что словарь Литтре, до сих пор оставаясь символом всякого хорошего словаря во Франции, во многом устарел — и теоретически, и практически. И дело здесь не только во времени (после его первой публикации прошло примерно сто двадцать лет), как обычно считают, но и в теории, в истолковании и осмыслении самой природы языка.

Вслед за Дарвином Литтре считал, что природа языка определяется прежде всего биологическими закономерностями. В предисловии к своему словарю (с. 37), желая обосновать необходимость примеров из произведений писателей разных эпох, Литтре рассуждал так: словарь без писателей прошлых веков — это «дерево без корней», подобно тому как тот же словарь без иллюстраций из современных авторов — это одни только «корни без ветвей и без листьев». Такая ботаническая концепция, перенесенная на язык, поначалу кажется убедительной: дерево действительно не может существовать без корней. В языке, однако, все гораздо сложнее.

Задолго до появления соссюровского учения о синхронии и диахронии (1916 год) выдающиеся филологи разных стран стремились понять, что такое развитие языка и какие особенности каждая эпоха вносит в процесс этого развития. Поэтому и словарь, если он хочет быть словарем современного языка, не может опираться в равной степени и на примеры из «Слова о полку Игореве», и на примеры из

Шолохова. Лексикограф обязан учитывать и понимать исторический фон лексики, он не имеет права не различать разные эпохи в развитии лексики.

*Дерево*, как известно, без корней существовать вообще не может, лексика же современного русского или французского языка функционировать может даже без учета ее исторического прошлого. И это нисколько не умаляет значения исторического прошлого языка. Диахрония присутствует в самой синхронии (прямо или косвенно), но не лишает ее права на известную самостоятельность. На этом, как известно, основано и различие между словарями историческими и словарями современных эпох существования языка.

И это понятно. Язык — социальный феномен прежде всего, дерево же — феномен ботанический. Я говорю об этом не для поучения давно умершего Литтре, создавшего для своего времени в целом прекрасный словарь, а для прояснения некоторых теоретических вопросов, актуальных и для наших дней. К тому же, как мы сейчас увидим, анализируемая теория имела практические последствия.

Вот они, эти практические последствия неточности теоретических оснований.

Создавая свой словарь, по замыслу *современного* французского литературного языка, Э. Литтре иллюстрировал его примерами из сочинений писателей прошлых веков, главным образом из текстов, созданных в XVII и XVIII столетиях. В словаре Литтре мы не находим ни одного примера из сочинений, например, Стендаля и Бальзака, хотя первый скончался в 1842 году, а второй — в 1850 году, т. е. за десять—пятнадцать лет до начала публикации словаря. Тексты современников казались Литтре «неотстоявшимися»: дерево еще не образовало своих ветвей и листьев. Натуралистическая концепция языка мешала Литтре понять, что современный ему литературный язык не может иллюстрироваться лишь текстами прошлых веков. В лучшем случае подобные тексты могут только дополнять (в монументальном словаре) тексты современников, но отнюдь не исключать их. Между тем примеры из современных авторов у Литтре единичны. Замечены, в частности, четыре примера из Виктора Гюго

и пять примеров из других авторов той же эпохи<sup>157</sup>. И это в словаре, размер которого превышает тысячу печатных листов!

Все это теперь кажется тем более удивительным, что в предисловии к своему словарю Литтре писал о значении истории языка для понимания его современного состояния. Тезис сам по себе бесспорный. И все же современного языка в собственном смысле в словаре оказалось очень мало. Получился словарь французского языка как бы «вообще»: и не собственно исторический (примеров из текстов XII—XV веков в словаре почти совсем нет), и не собственно современный (примеров из текстов современников автора тоже почти совсем нет).

Позицию Э. Литтре легче понять на фоне европейской лингвистики 60—80-х годов минувшего столетия. Естественные науки того времени (особенно биология и ботаника) оказывали мощное воздействие на все общественные науки и больше всего на языкознание. Это само по себе хорошо известно. Гораздо менее известно другое — «обратное» воздействие науки о языке на некоторые дисциплины естествознания, в частности на биологию и физиологию. Существует исследование, в котором убедительно показано, как известный немецкий биолог и физиолог Эрнст Геккель (1834—1919), ученик и последователь Ч. Дарвина, стремился перенести принцип родства языков (так называемое «родословное древо») на принцип классификации животного мира<sup>158</sup>. Родоначальником же биологической концепции языка считается Август Шлейхер (1821—1868).

Как мы видели, и Э. Литтре представлял себе язык в виде дерева с ветвями и листьями. И ему казалось, что ветви и листья не могут существовать без корней. Следовательно, грани современного языка не могут быть даже приблизительно очерчены, они уходят в историю. Отсюда и иллюстрации в словаре современного языка, выбираемые, однако,

---

<sup>157</sup> Aquarone S. The life and works of E. Littré. Leyden, 1958. P. 30.

<sup>158</sup> Koerner K. Schleichers Einfluss auf Haeckel//Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung. Göttingen, 1981. B. 95. S. 1—21.

только из текстов писателей XVII—XVIII веков. Биологическая концепция языка оставалась не только в теории. Она давала о себе знать и на практике, в частности в построении словаря современного языка.

Сказанное актуально и для наших дней: биологическая концепция языка, казалось бы преодоленная к началу нашего столетия, вновь получила довольно широкое развитие у многих современных лингвистов разных стран<sup>159</sup>. И дело здесь не только в том, что подобная концепция затемняет глубоко социальную природу языка (что само по себе несомненно), но и в том, что соотношение между историей и современностью в биологии и ботанике принципиально иное, чем аналогичное соотношение в языке, а следовательно, и в науке о языке. Ветви и листья почти сейчас же увядают без корней, тогда как диахрония, пребывая в самой синхронии, может как бы отпускать ее от себя сравнительно надолго: понятие современного языка тем самым приобретает известную самостоятельность.

Все это существенно и для общей теории языка, и для теории словарей, прежде всего толковых. И нисколько не противоречит тому, что без биологии и физиологии нельзя изучить ни фонетическую, ни артикуляционную систему ни одного языка. Но следует строго различать взаимодействие наук и их смешение, физиологию звуковых артикуляций и язык как глубоко социальный феномен по самой своей сущности.

И все же словарь Литтре, как у нас словарь Даля, справедливо считается словарем общенационального значения. Вместе с тем оба этих словаря, во многом различные, лишний раз напоминают о том, что поиски более совершенных словарей и по своему содержанию, и по своей структуре должны вестись постоянно во всех странах, способных ценить свои национальные языки<sup>160</sup>.

---

<sup>159</sup> См., например: Lennenberg E. Biological foundations of language. New York, 1967; Lieberman Ph. The biology and evolution of language. Harvard, 1984.

<sup>160</sup> И не даром во Франции существует специальное издательство «Общество по подготовке нового Литтре» (La Société du Nouveau Littré).

Общенациональное значение приобрел и знаменитый, основательный и популярный «Американский словарь английского языка» Н. Вебстера (у нас транскрибируют и Уэбстер) <sup>161</sup>. Автора этого словаря объединяет с Далем и Литтре многое. Во-первых, и Вебстер, и Даль, и Литтре работали над своими словарями почти всю жизнь, во-вторых, каждый из них известен еще и в другой области деятельности: Даль — как писатель, Литтре — как философ, Вебстер — как прогрессивный общественный деятель.

Защищая в предисловии название своего словаря (получался парадокс: язык *английский*, но словарь *американский*), Вебстер стремился доказать, что каждая нация должна иметь свой словарь и что это имеет не только лингвистическое, но и общественно-политическое значение. Поэтому и понятие *словаря* неотделимо от понятия *нации*. И хотя в первое издание своего словаря Вебстер включил всего только пятьдесят американизмов (слов, которые в то время не употреблялись в английском языке Англии), он все же считал нужным назвать свой словарь американским. Как известно, в те времена еще почти не существовало учения о национальных вариантах одного и того же языка в разных странах — учения, разработанного главным образом в советской лингвистике 50—80-х годов нашего века, — поэтому и возникал парадокс об «Американском словаре английского языка» <sup>162</sup>.

Проблема национальных вариантов одного и того же языка весьма актуальна и в наше время. Она актуальна и для словарей: какие местные слова, характерные для определенного варианта единого языка, следует включать в словарь, а какие — не следует? Этот вопрос не может иметь общего ответа для всех вариантов единого языка. От лексикографа он требует тщательного анализа каждого конкретного случая.

---

<sup>161</sup> Webster N. American Dictionary of the English language. Ed. 1. Springfield, 1828.

<sup>162</sup> История создания словаря Вебстера освещена в монографии: Rollins R. The long journey of N. Webster. Philadelphia, 1980.

Парадокс Н. Вебстера (язык английский, но словарь американский, где прилагательное *американский* имеет не только географическое, но и лингвистическое значение) повторяется и в наше время, в особенности в словарях тех языков, которые имеют многочисленные варианты в разных странах. Так, например, в Бразилии выходят «Бразильские словари португальского языка», а то и просто — дальнейший шаг по пути разрыва с исходным языком — «Словарь современного бразильского языка»; как бы без всякого отношения к португальскому, хотя лингвистически это лишь национальный вариант португальского языка<sup>163</sup>.

Как видим, общелингвистическая проблема — соотношение языка и его национальных вариантов в разных странах — имеет большое значение и для теории словарей, для принципа отбора и истолкования слов, включаемых в словарь.

## НОРМА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И СЛОВАРИ

Представляется важным и вопрос о норме языка — так, как она представлена или должна быть представлена в словарях. Здесь многое зависит от: 1) понимания самой нормы языка и 2) от размеров того или иного словаря. Если первое условие — теоретического характера, то второе — практического, обусловленное издательскими требованиями.

Уже в первом русском академическом словаре («Словарь Академии Российской», 1789—1794 годы) можно обнаружить известную непоследовательность в осмыслении самой нормы языка и в том, как ее показать и обосновать в словаре. Г. О. Винокур, занимавшийся этим словарем, писал об его издателях, что «они хотели бы вывести норму из наличного употребления, но не решались взять на себя ответственность законодательной работы, заменяя ее

---

<sup>163</sup> См., например: Fernandes F. Dicionário brasileiro contemporâneo. Ed. 2. Rio de Janeiro, 1960 (имеются и новые издания 80-х годов). Краткий обзор португальских словарей дан в журн.: *Lingua portuguesa*. Lisboa, 1980. Ano XXXI. Ser. 4. No. 3e4. P. 72—80.

ссылкой на известную традицию авторитета»<sup>164</sup>. В словаре нет прямо и открыто провозглашаемой нормы языка. И это можно понять: в ту, еще допушкинскую, эпоху литературную норму русского языка было нелегко фиксировать. Поэтому возможность или невозможность фиксации подобной нормы в словаре во многом зависит от самого состояния того или иного литературного языка, от степени его развития, от наличия текстов выдающихся писателей.

Здесь не может быть универсальной рекомендации: отмечать или не отмечать нормативность различных слов и словосочетаний. В подобных случаях нормативность или ненормативность отмечается лишь там, где это позволяет сделать состояние самого литературного языка в данной стране и в данную эпоху.

Для разных языков такие эпохи различны. Английские словари не смогли бы справиться с нормативностью до эпохи Шекспира, испанские словари — до эпохи Сервантеса, сербские словари — до эпохи Караджича, русские словари — до эпохи Пушкина и т. д. Но в принципе общественная ценность словарей во многом повышается, когда их читатели находят подобные сведения о нормативности или ненормативности (с различными указаниями) тех или иных слов, словосочетаний и фразеологизмов. Поэтому никак нельзя согласиться с теми исследователями, которые до сих пор считают, будто бы задача сводится лишь к регистрации слов, а не к их более глубокому осмыслению.

Иногда принцип «чистой» регистрации формулируется даже в виде афоризма — описывать, но не предписывать<sup>165</sup>. Это ошибочный афоризм. Он снижает работу лексикографа до уровня простого собирателя слов. Разумеется, «предписывать» совсем не означает приказывать, но это означает вдумчиво и всесторонне анализировать лексику с позиции ли-

---

<sup>164</sup> Винокур Г. О. Избранные работы по русскому языку. М., 1959. С. 164.

<sup>165</sup> Такая рекомендация вслед за некоторыми английскими лингвистами дается, например, в статье: М а л а х о в с к и й Л. В., Ступин Л. П. Большой Оксфордский словарь английского языка // Изв. АН СССР. Серия лингв. и языка. 1978. № 6. С. 545.



тературного языка данной эпохи. И недаром Л. В. Щерба, как мы уже знаем, всегда считал, что хорошие словари не составляются, а творятся, создаются, требуют от лексикографа всесторонних знаний. Только такие словари имеют национальное значение.

Общенациональное значение языковой нормы давно понимали не только филологи, но и другие выдающиеся ученые разных стран. Так, уже в XVIII столетии Д. Дидро, энергично подготавливая знаменитую многотомную энциклопедию, писал о том, что она должна заключать в себе, во-первых, «все знания, разбросанные по всему миру», а во-вторых, излагать эти знания на языке, располагающем «твердой нормой»<sup>166</sup>. Уже тогда ясность изложения ассоциировалась с языковой нормой. Но у Дидро и его современников подобная ассоциация формулировалась еще слишком категорично и прямолинейно: «Твердые знания требуют твердого языка».

Хотя сам по себе призыв Дидро имел и в ту эпоху прогрессивное значение, однако проблема нормы языка в наше время оказывается гораздо сложнее.

Лингвистам хорошо известно, что сама норма языка находится в постоянном движении. Я уже напоминал слова В. В. Виноградова о том, что «...от Пушкина до наших дней сменилось несколько (по крайней мере три) лексико-стилистических систем и соответствующих им литературных норм»<sup>167</sup>. Подобная формулировка («несколько», «по крайней мере три») знатока русского литературного языка показывает, насколько трудно точно устанавливать подобные «смены» нормы. Еще труднее показать, как ряды подобных норм могут объединяться, образуя более обширный период, внутри которого как бы размещаются более краткие отрезки времени со своими особенностями нормы, не исключаящими, однако, понятия более обширной нормы.

Что это означает практически? Это означает, что лексикограф, создающий словарь современного

<sup>166</sup> См. об этом материалы в интернациональном журнале: *Journal of the Sociology of language*. Berlin—New York—Amsterdam. 1986. V. 62. P. 129—156.

<sup>167</sup> Виноградов В. В. Семнадцатитомный академический словарь // Вопросы языкознания. 1966. № 6. С. 25.

русского языка, имеет все основания приводить примеры из сочинений Пушкина и Лермонтова, вместе с тем учитывая и понимая целый ряд несовпадений между нормой современного языка и нормой языка пушкинской поры. Это и есть, на мой взгляд, соотношение между более широкой нормой и нормой или нормами внутри подобной широкой нормы. Поэтому-то и примеры из Пушкина рядом с примерами из Горького и тем более из сочинений Ф. Абрамова или К. Паустовского могут совпадать по своей семантике, а могут не совпадать, чаще всего чуть-чуть не совпадать.

Все это повышает ответственность лексикографа. Об этом уже шла речь в первом разделе. Теперь я возвращаюсь к этому вопросу на фоне истории и теории разных словарей.

Какова роль в словаре примеров из сочинений писателей, и как следует подобные примеры располагать? Как мы уже знаем, у Даля почти совсем нет литературных примеров, у Литтре — лишь примеры из текстов прошлых веков. И все же многие, теперь уже по времени старые словари опирались на тексты писателей в поисках нормы, необходимой и для словаря.

В этом отношении показательна история создания уже упоминавшегося испанского шеститомного академического словаря, который публиковался на протяжении 1726—1739 годов. Показательно само название словаря — «Словарь Авторитетов» («Diccionario de Autoridades». Madrid)<sup>168</sup>. И хотя и здесь авторитетными тоже оказались писатели главным образом прошлых эпох (Сервантес, Кеведо, Хаурегги, Хуан де Мена и другие), сама убежденность авторов словаря, что норма языка (*норма* — тогда уже известный термин) должна опираться прежде всего на язык писателей, весьма показательна. Да и само название словаря об этом же свидетельствовало.

Интересно, что доводы в пользу примеров из сочинений писателей приводились тогда не столько

---

<sup>168</sup> См. предисловие к «Diccionario de Autoridades» (edición facsimil). Madrid, 1963. См. еще: Гущина Н. А. Словарь Авторитетов//Вестн. Моск. ун-та. Сер. Филология. 1971. № 3. С. 65—74.

лингвистического, сколько общекультурного характера. Авторы «Словаря Авторитетов» рассуждали так: «все науки» и «все искусства» должны содержаться в хорошем словаре. А писатели и являются носителями подобных знаний. Поэтому примеры в словаре и должны приводиться из их сочинений. Вместе с тем писатели всегда прислушиваются и к живой народной речи. Вот почему литературные примеры желательно чередовать с примерами из живой речи. О таком разумном сочетании мечтали уже издатели «Словаря Авторитетов».

Казалось бы, вполне современная постановка вопроса. Но это не совсем так. Во-первых, тексты писателей, приводимые в словаре, заимствуются опять-таки только из прошлых столетий, во-вторых, авторам словаря еще не было известно разграничение таких понятий, как *значение* и *употребление* слова. И самое главное! Тогда еще не существовало научного понятия о развитии языка и о развитии его лексики в частности и в особенности. А изменения в языке ассоциировались с его «порчей». Разграничение же таких понятий, как *значение* и *употребление* слова, остается сложным и для современных словарей<sup>169</sup>.

Этот, казалось бы, специальный и не такой уж существенный вопрос в действительности прямо связан с теоретическим вопросом о сущности самого слова, о наличии у него в каждую эпоху основного значения и как бы вытекающих из него последующих значений. Только на основе разграничения основного и последующих значений у большинства слов нетерминологического характера можно сравнительно легко провести и второе разграничение — *значения* и *употребления* слова.

Основное значение слова, как мы уже знаем, не зависит от контекста, его же последующие значения уже обнаруживают подобную зависимость, тогда как употребление слова целиком оказывается во власти того или иного контекста.

Когда в прошлом веке после публикации в 1862 году романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» суще-

<sup>169</sup> Этому, в частности, посвящен специальный номер журнала: *Revista española de lingüística*. Madrid. 1986. No. 1 («Norma y Uso»).

ствительное *нигилист* приобрело особое значение («разрушитель эстетики»), широко распространенное в литературных кругах того времени, то это было все же только употреблением слова, а не его основным значением («человек, отрицательно относящийся ко всему общепризнанному»). И хотя базаровское истолкование *нигилиста* и *нигилизма* оставило глубокий след в русской лексике и в русской культуре, оно все же не стало основным значением этих слов.

Когда немецкие писатели-романтики первой половины минувшего столетия стремились придать слову *Gemüt* 'нрав' особое поэтическое значение «душа», «нечто возвышенное и прекрасное», то и здесь возникло особое употребление слова, не перешедшее в одно из его значений. Подобное употребление живет лишь в определенных исторических контекстах, хотя в известных случаях и может вызвать к жизни новые словосочетания (ср., например: *sonnigen Gemüt* 'солнечная душа', *kindlichen Gemüt* 'детская невинная душа').

Но в определенных случаях употребления слово способно стать одним из его значений или даже отколоться от него вовсе, образовав омоним. Французское существительное *impression* 'тиснение, печать' рано стало употребляться в переносном значении — «впечатление» (как бы давление со стороны окружающего человека мира). Но вот в 1874 году театральный критик А. Леруа, оценивая картину замечательного французского художника Клода Моне, которая называлась «Впечатление: восходящее солнце» (*Impression: le soleil levant*), назвал ее автора *импрессионистом*, а его живописную манеру *импрессионизмом*<sup>170</sup>. Новое употребление слова *impression* сначала стало одним из его значений, а вскоре откололось от него, сформировав особое слово, затем ставшее термином. В разных европейских языках об *импрессионизме* и *импрессионистах* теперь говорят не только по отношению к художникам, но и как об особом направлении в литературе, архитектуре, музыке

---

<sup>170</sup> Migliorini B. *Saggi linguistici*. Firenze, 1957. P. 321.

(Клод Дебюсси — основоположник музыкального импрессионизма).

Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» написал целую статью о том, как ему удалось ввести в литературный язык глагол *стушеваться* в значении «не провалиться сквозь землю..., а, так сказать, сойти на нет, деликатно, плавно, неприметно, погрузившись в ничтожество». «Появилось это слово в первый раз 1 января 1846 года в «Отечественных записках», в повести моей «Двойник, приключения господина Голядкина». И тут же Достоевский анализирует внутреннюю форму самого глагола *стушеваться* <sup>171</sup>.

Известно, что слово *кибернетика* образовал в 1948 году создатель этой науки американский физик и математик Норберт Винер, сам затем подробно рассказавший об истории этого слова <sup>172</sup>. Известны также отдельные случаи просто выдуманных слов, не имеющих этимологий. Таким является существительное *газ*, придуманное в XVII веке бельгийским физиком и врачом И. Гельмонтом <sup>173</sup>.

Последние два случая — это уже не употребление старых слов в новых значениях, а новые слова в самом прямом смысле. Это уже факты языка, а не контекстные употребления старых слов.

Как должен относиться к такого рода трансформациям хороший словарь? Общий ответ прост: самым внимательным образом. Здесь многое зависит не только от размеров словаря, но и от искусства и знаний лексикографа. В одномтомном словаре он может пройти мимо тех или иных контекстных употреблений слова, но обязан объяснить такие процессы, когда индивидуальное употребление слова затем либо превращается в одно из его новых значений (*нигилист*), либо образует в современном языке отдельное новое слово (*импрессионист*).

Не менее важен вопрос о разграничении общераспространенных значений слов и их профессио-

---

<sup>171</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. худож. произведений. М.; Л., 1926—1930. Т. 12 («Дневник писателя»). С. 295—300.

<sup>172</sup> Норберт В. Я — математик. М., 1964. С. 308.

<sup>173</sup> Falk H. und Torp N. Norwegisch—dänisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1910. B. 1. S. 301.

нальных или в более широком плане — терминологических — осмыслений<sup>174</sup>. Вернемся к этому вопросу теперь уже с позиции языковой нормы.

Слова, которые являются одновременно словами общелитературного языка, а в специальных текстах терминами (например, *промышленность, инерция, амплитуда, дарвинизм, метафора, валторна*), безусловно должны входить в однотоминый словарь, тогда как термины, встречающиеся почти исключительно в тех или иных науках (например, *парафазия, рейдер, филлиты, органиструм, миелит* и тысячи других слов, главным образом иноземного происхождения), могут в такой словарь и не входить. И дело здесь не только в размерах того или иного словаря (что тоже, разумеется, существенно), но прежде всего в сложном соотношении между словами общелитературного языка и терминами. В основе же последнего соотношения, все более и более усложняющегося, лежат стремительный рост знаний, стремительное развитие отдельных наук, требующее чаще всего специализированных терминов.

В результате в наше время почти каждая наука имеет свой специальный словарь терминов, обычно исчисляемых тысячами<sup>175</sup>. Вместе с тем, как я уже отмечал, «язык науки» при всем своем своеобразии не может обходиться без общелитературного языка. Это всегда понимали выдающиеся ученые разных специальностей. Об этом у нас хорошо писали философ и историк Г. В. Плеханов, физиолог Л. А. Орбели, геолог и географ А. Е. Ферсман, историк Е. В. Тарле, а за рубежом — физик Луи

<sup>174</sup> Подробнее об этом см. мое «Введение в науку о языке» (Изд. 2. М., 1965. С. 33—35 и 428—430).

<sup>175</sup> Только за последние годы у нас в стране были опубликованы следующие двуязычные и многоязычные специальные терминологические словари (называю лишь некоторые): Англо-русский металлургический словарь. М., 1985 (66 000 терминов); Иллюстрированный словарь по машиностроению (англо-немецко-французско-нидерландско-русский). М., 1983 (3 600 терминов); Строительный словарь (англо-немецко-французско-нидерландско-русский). М., 1984 (20 000 терминов); Японско-англо-русский физический словарь. М., 1982 (25 000 терминов); Китайско-русский военный и технический словарь. М., 1986 (35 000 терминов). Везде речь идет о многих тысячах терминов. До 1962 года см. полезный справочник: Словари, изданные в СССР, 1918—1962 гг. М., 1966.

де Бройль, философ и логик Б. Рассел, физик А. Эйнштейн и многие другие<sup>176</sup>.

Вот почему проблема разграничения и взаимодействия слов общелитературного языка и терминов специальных наук до сих пор остается в центре теоретической лексикографии. Компьютер может здесь помочь, установив частотность тех или иных терминов. Но, разумеется, решающее слово принадлежит человеку — тонкому знатоку языка, всех его стилей и возможностей. Язык сохраняет свою целостность, несмотря на различного рода дифференциальные тенденции как внутри самого языка, так и в его окружении — в социальной среде его функционирования.

Как мы уже знаем, еще одна проблема разграничения и одновременно взаимодействия возникает перед лексикографом — проблема соотношения между словами общелитературного языка и словами так называемого просторечия, куда обычно включают весьма разнородный лексический материал: от слов разговорного стиля до бранных слов различных жаргонов.

Между тем если слова разговорного стиля — как известно, мы говорим обычно не так, как пишем — безусловно должны быть широко представлены в словаре, то бранные слова требуют отбора, но не по пуристическим соображениям, а в силу единства того самого литературного языка, который составляет основу всякого современного толкового словаря. Нарушаться же подобное единство может по причине неправомерного расширения одного из его стилей или сфер употребления (например, бранных слов), за счет других его стилей или других сфер употребления (например, «высоких» слов героического эпоса). Между тем заботиться о единстве и целостности языка, в том числе об известной симметрии его стилей, разных лексических возможностей, обязан всякий лексикограф, если он хочет

---

<sup>176</sup> Подробнее см. главу «Что же такое научный стиль?» в моей книге «Язык, история и современность» (М., 1971. С. 143—153). О месте многих терминов в литературном языке интересно рассказано в книге известного американского писателя и популяризатора науки Айзека Азимова (Азимов А. Язык науки. М., 1985).

создать словарь языка, а не отдельных его разновидностей, отдельных сфер употребления лексики.

В свое время, как я уже отмечал, Бодуэн-де-Куртенэ, редактируя третье и четвертое издания словаря Даля, восстановил в этом словаре все ему известные бранные слова, ранее в первых двух изданиях не пропущенные цензурой. Разумеется, не все подобные слова произносятся в обществе, не все они украшают человека, их произносящего (а многие из них его унижают, лишают человеческого достоинства), но Бодуэн стремился показать, как ему казалось, «все стили языка», все его возможности. И речь здесь идет не об осуждении или оправдании Бодуэна, а о проблеме, актуальной и в наши дни, — о границах литературного языка и о сложности самого процесса их установления.

И здесь роль человеческого фактора огромна. Никакая, даже самая современная машина не может установить, где начинается или где кончается сфера «бранных слов», если сам лексикограф не владеет достаточно хорошо всеми стилями языка, всеми его возможностями.

Особенно сложна линия разграничения между словами и словосочетаниями, условно говоря «не очень бранными» (типа «черт поberi!»), и словами, словосочетаниями эмоционально окрашенной разговорной речи (типа «страшно хочется» в значении «очень хочется»). Все это и требует от лексикографа тщательно разработанной системы словарных характеристик.

Вместе с тем оказываются вполне оправданными такие словари, которые рассматривают строго литературный, строго нормативный язык, и такие словари, которые, напротив, посвящены анализу лишь слов и словосочетаний разговорной речи, и словари диалектные, и, наконец, словари арготической речи. Во Франции, например, имеются все типы подобных словарей, в том числе «Словари хорошего языка», «Словари хорошего тона» (*bon usage*)<sup>177</sup>.

Но вернемся к роли писателей в становлении и развитии литературных языков. Как эта роль обыч-

---

<sup>177</sup> О таких словарях см. специальный сб.: *Langue française. Le lexique*. Paris, 1969. P. 30—40.



но отражается и как должна отражаться в словарях? Воздействие великих писателей на литературный язык чаще всего сводят к отдельным словам и словосочетаниям (их образцы приведены раньше), хотя сама проблема не только гораздо сложнее, но и гораздо многообразнее.

Двадцать первый сонет Шекспира оканчивается такими словами: «В любви и в слове — правда мой закон»<sup>178</sup>. Сейчас же возникает вопрос, каким «словом», какой лексикой должен владеть писатель, чтобы действительно уметь передавать правду средствами языка. Совершенно очевидно, что большому писателю нужен, по возможности, «весь словарь», все ресурсы языка. В противном случае передать правду окажется невозможно. Вот и получается, что ресурсы строго литературной нормы во многих случаях писателям недостаточны.

Обычно считается, что просторечие, а нередко и диалектные материалы требуются писателю лишь для передачи речевой характеристики персонажей из народа, для этнографического колорита повествования. Между тем у больших писателей эта проблема становится гораздо более сложной. Пушкин считал, что «простонародность языка» не должна осмысляться лишь с помощью ссылки на этнографию и говоры (диалекты). Для Пушкина проблема «простонародности языка» — это проблема становления и развития самого литературного языка в его многообразных формах взаимодействия с его же народными истоками<sup>179</sup>. Нет литературного языка, с одной стороны, и его народных основ — с другой. Но существуют глубокие и разнообразные формы их исторического взаимодействия.

В этом плане понятно и знаменитое письмо 1830 года Пушкина М. П. Погодину по поводу погодинской драмы «Марфа-посадница». Довольно резко критикуя язык драмы («ошибок грамматических ... тьма»), Пушкин вместе с тем замечает: «Языку нашему надобно воли дать более — (разумеется, сооб-

---

<sup>178</sup> Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака. М., 1949. С. 29.

<sup>179</sup> См. об этом: Виноградов В. В. Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. М., 1935. С. 13—20.

разно с духом его)»<sup>180</sup>. Здесь дана целая лингвистическая программа: языку необходимо дать волю, но не просто волю, а волю «сообразно с духом» самого языка. Выражая мысль Пушкина с помощью современной терминологии, можно утверждать: границы литературного языка не должны быть жесткими. Они должны постоянно пропускать и впитывать в себя разнообразные элементы «простонародного языка» (не только отдельные слова, но и словосочетания, разговорные конструкции живой речи, ритмические и интонационные особенности той же речи). Вместе с тем все это нужно делать не «вообще», а «сообразно с духом» того языка, которым пользуются писатели, сообразно с языком литературным (на нем, в частности, и была создана «Марфа-посадница»).

И для лексикографа здесь дана целая программа. Основывая свой словарь прежде всего на ресурсах литературного языка, лексикограф обязан понимать, что подобные ресурсы постоянно пополняются и расширяются таким «простонародным языком», который проникает в литературный язык «сообразно с его духом», не нарушает его единства и целостности.

Трудность проблемы — в рецепте для понимания «духа языка». Такой рецепт должен прописываться на основе отличного знания всех ресурсов языка, всех его стилей и особенностей. Это и имел в виду Пушкин, рекомендуя развивать и расширять литературный язык «сообразно с духом его».

Хотя научная литература о языке и стиле писателей разных стран поистине огромна, однако вопрос о том, как такие писатели воздействовали на свой родной литературный язык, остается все еще изученным мало. Хорошо известны лишь отдельные слова и словосочетания (образцы которых я уже приводил), связанные с именами тех или иных писателей. Но этого, разумеется, мало. И это больше относится к внешнему, а не к внутреннему, более глубокому воздействию.

Трудность проблемы здесь еще и в том, что в отдельных странах само понятие литературного языка осложнено. В Италии, например, филологи различают: 1) общелитературный язык, 2) региональный

<sup>180</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. М.; Л., 1949. Т. X. С. 321.

литературный язык, 3) диалект, находящийся под воздействием литературного языка («итальянизированный диалект») и 4) собственно диалект<sup>181</sup>. Возникает вопрос: в какой степени в словаре должны учитываться слова, принадлежащие к второй и третьей группам подобной классификации? И здесь требуется тщательное изучение материала. Известно, что и в наши дни некоторые итальянские писатели обращаются не к общелитературному, а к региональному литературному языку<sup>182</sup>.

Чаще всего вопрос ставится так: все люди, говорящие на данном языке, так или иначе воздействуют на него. Воздействуют и писатели, в особенности выдающиеся. Но в чем принципиальное отличие второго типа воздействия от первого, остается до сих пор недостаточно ясным. Хотя старое представление о том, что человек вообще бессилён воздействовать на язык, в настоящее время представляется несостоятельным, все же вопрос о типах такого воздействия еще ждет своих исследователей<sup>183</sup>.

Но вот бесспорные факты. После Данте итальянский литературный язык стал другим, как и русский литературный язык после Пушкина, английский литературный язык после Шекспира, немецкий литературный язык после Гёте и Шиллера, сербский литературный язык после Караджича, никарагуанский вариант испанского языка после Дарио. Примеры подобного рода могут быть легко увеличены.

---

<sup>181</sup> Современное итальянское языкознание. М., 1971. С. 7, 293; Renzi L. Introduzione alla filologia romanza. Bologna, 1976. P. 113—115.

<sup>182</sup> Известный современный итальянский драматург Эдуардо де Филиппо признавался, что его пьесы, написанные на региональном неаполитанском литературном языке, имели больший успех (особенно, разумеется, в Неаполе), чем пьесы, созданные на общелитературном языке. Об этом же говорил и другой выдающийся итальянский прозаик А. Моравиа в интервью, данном нашей «Литературной газете» (6 января, 1971, с. 15). О «диалектной вспышке» в современной Италии пишут и историки языка: Mauro T. de. Storia linguistica dell'Italia unita. Bari, 1970. P. 149—159.

<sup>183</sup> См. своеобразную хрестоматию разных мнений о возможности «планирования языка»: Can Language be planned? Sociolinguistic Theory and Practice for developing Nations. University Press of Hawaii. 1971.

Как правило, подобные новаторы имели и последователей, продолжавших их дело. За Данте следовали Петрарка и Боккаччо, за Пушкиным — Гоголь, Тургенев, Достоевский, если называть лишь ближайших последователей. Процесс сводился не к простым количественным накоплениям, а к попыткам углубить и расширить ресурсы литературного языка.

Как великий реформатор русского литературного языка, Гоголь стоит рядом с Пушкиным. Вместе с тем лексикограф не может опираться и приводить в качестве иллюстраций некоторые тексты Гоголя, а позднее Достоевского и Л. Толстого. У Гоголя, например, «водопад *сыплется*», а «зерна *льются*», тогда как в норме его времени — «водопад *лется*», «зерна *сыплются*». У Гоголя «звезды *отдаются* в Днепре», а в норме — «звезды *отражаются* в Днепре». У Гоголя «она *причаровала*», а в норме — «она *очаровала*» и т. д. Нечто подобное происходило у Гоголя и с именами существительными<sup>184</sup>.

Вместе с тем почти все исследователи языка и стиля Гоголя, всего его творчества отмечают огромное воздействие писателя не только на русский литературный язык 30—50-х годов минувшего столетия, но и на все его дальнейшее развитие.

В чем же тут дело? Было бы нелепо обвинять Гоголя или позднее Л. Толстого в плохом знании русского литературного языка. Между тем такие «обвинения» со стороны заурядных филологов еще не так давно раздавались<sup>185</sup>. В действительности в подобных случаях наблюдается совсем другое.

Раздвигая границы литературного языка, Гоголь, как позднее и Лев Толстой, проводил своеобразные

---

<sup>184</sup> Примеры и наблюдения Андрея Белого в его кн.: Мастерство Гоголя. М., 1934. С. 202—205.

<sup>185</sup> Например, у Е. Ф. Будде (см. его «Опыт грамматики языка А. С. Пушкина» (Спб., 1904. С. 2), где, к всеобщему стыду, можно прочесть: «Проза Гоголя... является совершенно не художественной и, можно сказать, написана исковерканным русским языком...». Так же судил этот «филолог» и о прозе Льва Толстого). В наши дни трудно читать без горестной улыбки стилистические «исправления» текстов великих писателей, предложенные заурядными литераторами. В конце прошлого века француз А. Альбала «исправлял» тексты Проспера Мериме и даже Гюстава Флобера (Albalat A. L'art d'écrire. Paris, 1896. P. 42).

эксперименты. Отсюда наряду с общепринятыми словосочетаниями у них появились и словосочетания не-общепринятые, причем не только лексического, но и синтаксического характера. Все это не только придавало индивидуальный отпечаток их языку и стилю, но и особым образом раздвигало границы литературного языка. Даже позднее непринятые языком эксперименты оказывались, как правило, для него же полезными. Они выявляли безграничные возможности языка.

Каковой же в подобных случаях должна быть позиция словаря, позиция лексикографа?

Определяя и поясняя уже знакомое нам слово *водопад*, лексикограф не приведет гоголевский пример «водопад *сыплется*», но может привести его же пример «водопад *низвергается*». Что касается первого словосочетания, то если оно и попадет в словарь, то, разумеется, с отметкой «у Гоголя». Что же касается глагола *сыпаться*, то он многозначен, это не только: 1) «падать» (о чем-то сыпучем), но и 2) «разлетаться во все стороны», 3) «идти» (о мелком дожде, снеге), 4) обрушиваться на кого-либо (удары *сыплются*), не говоря уже о его более редких значениях<sup>186</sup>. В свете подобной полисемии самого глагола *сыпаться* становятся понятными и эксперименты Гоголя, еще больше расширявшие многозначность анализируемого глагола.

Сказанное дает возможность утверждать, что язык великих писателей является главным источником для хорошего словаря. Разумеется, подобный источник ограничен во времени, если речь идет о словаре современного языка в строгом смысле (ср. ранее уже проанализированное положение «от Пушкина до Горького»). При этом надо постоянно помнить, что подобное воздействие следует уметь обнаружить во всем строе литературного языка, в его поступи, в его возможностях разными средствами а и выражать мысли и чувства людей, говорящих на данном языке.

---

<sup>186</sup> Словарь русского языка. В 4-х т. Изд. 2. М., 1984. Т. 4. С. 326.

Но как быть с писателями, которые, подобно Гоголю, умышленно нарушают нормы литературного языка своего времени? Ведь словарь стремится опереться на нормативный литературный язык. Не возникает ли здесь противоречие: либо норма, либо писатели, весьма часто нарушающие подобную норму?

Противоречия здесь нет, или, если угодно, здесь жизненное противоречие. Оно разрешается в самом процессе развития литературного языка. Как мы уже знаем, литературный язык всегда находится в состоянии постоянного развития, но это не мешает ему в каждую историческую эпоху придерживаться определенных норм. Выдающиеся же писатели, в каких-то сферах языка нарушая его норму, лишь ускоряют процесс подобного развития, как правило, не нарушая при этом целостности самого языка. В таком взаимодействии общего и индивидуального — «секрет» непрерывного развития самого литературного языка.

Нельзя поэтому согласиться с теми лингвистами, которые под девизом защиты «строгости метода» исключают все индивидуальное в языке из сферы самой науки о языке. Обычно индивидуальное отождествляется с индивидуальным стилем. И тогда заявляют: «...индивидуальный стиль находится за пределами интересов лингвиста»<sup>187</sup>. Такая постановка вопроса неправомерна не только потому, что она резко сужает область науки о языке, но и потому, что проходит мимо важнейшей проблемы взаимодействия общего и отдельного в языке, взаимодействия нормы и индивидуальных отклонений от нее, взаимодействия языковых навыков тех или иных людей с общим состоянием языка определенной эпохи.

В новое время в отличие от средних веков, но уже с эпохи Возрождения большие писатели, как правило, не только способствовали развитию литературных языков, но одновременно и нередко умышленно стремились раздвинуть их нормы. Стоит только вспомнить позицию Франсуа Рабле во Франции

---

<sup>187</sup> Курилович Е. Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 421.

XVI столетия. Я уже отмечал пушкинское истолкование «свободы языка». Всем известны его же шуточные строки о грамматике («Как уст румяных без улыбки, Без грамматической *ошибки* Я русской речи не люблю»). А уже в наши дни известный советский поэт Николай Рыленков писал:

Пускай угрюмые догматики  
Ворчат, я к этому привык...  
Я до сих пор еще грамматике  
Нет-нет и покажу язык<sup>188</sup>.

Здесь, по-видимому, действует тот же закон, который, как уже упоминалось, применительно к музыке в свое время справедливо отмечал видный американский музыкант Леопольд Стоковский: «Стандартизация необходима для машин, но губительна для музыки»<sup>189</sup>. Это же относится и к литературному языку, хотя здесь ситуация сложнее: такой язык и стремится к единству, к целостности и одновременно тяготеет к разнообразию и многообразию своих же стилей.

Проблема «норма — ненорма» и в наше время остается важнейшей и для лексикографии, и для культуры языка в широком смысле. Вместе с тем эта проблема существенно менялась в разные эпохи жизни языка и в разных языках. Как справедливо писал Л. П. Якубинский, само колебание нормы в древнерусском литературном языке «...и было его нормой»<sup>190</sup>.

Напомню, что «ненорма» — это прежде всего то, что характеризует так называемое просторечие, иначе называемое разговорным или обиходным языком (немецкий термин *Umgangssprache*). Попытки более строго разграничить просторечие и разговорный язык не привели к удаче, хотя об этом много писали. Важно, однако, отметить, что в подобных случаях следует говорить не о разных языках, а о разных языковых стилях, так как все подобные про-

<sup>188</sup> Рыленков Н. И. Книга времени. М., 1969. С. 19.

<sup>189</sup> Стоковский Л. Музыка для всех нас. М., 1963. С. 17. И это, как отмечает автор, несколько не мешает самой музыке иметь разные основы, в том числе и математические (там же, с. 61).

<sup>190</sup> Якубинский Л. П. История древнерусского языка. М., 1953. С. 330.

тивопоставления проходят внутри одного и того же языка даже тогда, когда разговорный стиль (или разговорная речь) во многом отличается (не только лексически, но и фонетически, и грамматически, и интонационно) от стиля общелитературного языка. Это положение (единство языка, несмотря на все многообразие его стилей) имеет, как мы уже знаем, важное значение, хотя с ним обычно не считаются многие лингвисты нашего времени.

Американский социолингвист У. Лабов утверждает, что существует «миф о грамматической неправомерности разговорной речи»<sup>191</sup>. На мой взгляд, дело не в мифе, а в том, что разговорная речь имеет свои нормы (в том числе и грамматические), далеко не во всем и не всегда совпадающие с нормами письменного стиля, с нормами литературного языка, если его рассматривать как нечто целостное. И дело, разумеется, не в том, что нормы разговорной речи «хуже или лучше» норм письменного стиля, а в том, что само понятие языковой нормы меняется в зависимости от разных стилей языка. И все же единство языка, как правило, при этом сохраняется.

И здесь требуется исторический подход. Один из французских исследователей уже давно показал, как ненормативные категории в лексике и грамматике одной эпохи часто становятся вполне нормативными в другую, более позднюю эпоху. Ненорма исторически движется к норме, если первая находится в общем русле развития языка<sup>192</sup>.

Вот самый простой пример из русской морфологии: множ. число имен существительных типа *профессора́, директора́* еще в 20-х годах считалось ненормативным (говорили *профессоры, директора́*), тогда как в наше время именно новый тип для этих слов стал вполне нормативным<sup>193</sup>. Между тем данный процесс не затронул таких слов, как, например, *инженер* — *инженеры́*, где форма *инженера́* остается

<sup>191</sup> Лабов У. Исследование языка в его социальном контексте // Новое в лингвистике. М., 1975. Вып. 7. С. 114.

<sup>192</sup> Foulet L. Petite syntaxe de l'ancien français. Paris, 1930. P. 355.

<sup>193</sup> Третий том «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (М., 1939) форму множ. числа *профессоры* отмечает уже как устаревшую.



и в наши дни ненормативной. Подобное движение от ненормативности к нормативности широко пронизывает не только морфологию, но и синтаксис и лексику многих языков. Словари же обязаны чутко улавливать и фиксировать такие и сходные с ними переходные процессы.

Их актуальность может быть подтверждена разнообразными фактами. Бернард Шоу, например, считал, что на каждую тысячу человек в Лондоне «999 человек говорят по-английски плохо»<sup>194</sup>. Это же утверждает по отношению к французскому языку известный филолог А. Соважо: «В Париже очень плохо говорят по-французски»<sup>195</sup>. Казалось бы, соответствующие столицы должны быть центрами «хорошего языка». А все оказывается здесь сложнее. Уже в наши дни горячо обсуждается вопрос о том, как остановить процесс «порчи» и «коверканья» английского языка в разных странах мира, говорящих на этом языке. Предлагается даже новый термин и новое понятие — «улучшение языка (amendment)», освобождение его от «изъянов»<sup>196</sup>.

Разумеется, это уже другой процесс сравнительно с процессом, только что проанализированным: там ненормативное обычно развивается в русле общих тенденций развития языка и поэтому со временем весьма часто становится нормативным. А о «порче» языка можно говорить лишь в тех случаях, когда его изменения (бессознательные, а иногда и сознательные) проходят не в русле его же общего развития, а как бы вопреки ему. Тогда и возникает порча языка в прямом смысле этого слова. Тогда и возникает потребность в его улучшении.

Все сказанное имеет большое значение и для теории, и для практики словарей. Возникает необходимость в самых разнообразных словарях, в частности и в строго нормативных, и в «разговорных», о которых уже шла речь раньше. Отсюда и некоторая необычность даже в названиях отдельных сло-

<sup>194</sup> Хьюз Э. Бернард Шоу. М., 1968. С. 247.

<sup>195</sup> *Revue roumaine de linguistique*. Bucureşti. 1980. No. 4. P. 398.

<sup>196</sup> Целый ряд статей на эту тему опубликован в журнале: *International Journey of the Sociology of Language*. Berlin — New York — Amsterdam, 1986. N 60. P. 7—75. Здесь же дана и библиография вопроса.

варей. Например: «Словарь, не представленный в обычных словарях», «Словарь хорошего языка», «Словарь ненормативного языка» и многие другие<sup>197</sup>.

И все же проблема языковой нормы, несмотря даже на некоторую ее условность (как результат ее же подвижности), остается одной из главных для всякого толкового словаря — и строго нормативного, и широко черпающего материал из стиля разговорной и народной речи.

Как это ни парадоксально, в наше время роль нормативного языка все время возрастает, несмотря на то, что одновременно развиваются дифференциальные силы, как будто бы разрушающие единство литературного языка. Но и это противоречие оказывается жизненным, оно «снимается» в самом процессе функционирования языка. Роль публично звучащего языка (особенно радио, телевидение) становится все заметней, а такой язык требует нормативности, тогда как различного рода его же коммуникативная специализация осложняет единство нормативного языка<sup>198</sup>.

В свое время известный датский лингвист О. Есперсен остроумно заметил, что хорошее произношение — такое произношение, по которому почти невозможно установить, в какой местности родился говорящий. У него обычно и оказывается нормативная фонетика<sup>199</sup>. Социальная роль подобной нормативности, если она распространяется на все сферы

---

<sup>197</sup> *Französisch wie es nicht im Wörterbuch steht*//*Zeitschrift für französische Sprache und Literatur*. Wiesbaden, 1982. Nr. 3. S. 277—280; Girodet J. *Dictionnaire du bon français*. Paris, 1981; Cellard J. et Rey A. *Dictionnaire du français non conventionnel*. Paris, 1980.

<sup>198</sup> При всем различии между письменным языком и разговорной речью подобное различие нельзя ни преувеличивать, ни тем более абсолютизировать. Знаток английского литературного языка Г. Уальд считает, что «Шекспир говорил на том же языке, на котором он же писал» (W y l d H. *A History of modern colloquial English*. London, 1956. P. 101). И другой, хорошо известный исследователь культуры Возрождения Р. Менендес Пидаль утверждает, что принцип «пишу, как говорю» вообще был характерен для всей этой эпохи (Menéndez Pidal R. *La lengua de Cristóbal Colón*. Madrid, 1958. P. 74).

<sup>199</sup> Jespersen O. *Mankind, Nation and Individual from a linguistic point of view*. Oslo, 1925. P. 70.

языка (прежде всего на грамматику и лексику), огромна. Когда в одном из лучших романов Джека Лондона «Мартин Иден» (1909) малообразованный Мартин входит в гостиную аристократки Руфи Морз, своей будущей невесты, то она сразу же определяет малую интеллигентность Мартина по его первому же неправильному ударению (он ошибочно произносит фамилию известного английского поэта: *Свинбёрн* вместо *Суйнберн* (*A. Swinburne*))<sup>200</sup>. И таких примеров множество в мировой литературе на разных языках.

Нарушения языковой нормы могут свидетельствовать не только о социальных различиях между говорящими, но в наше время чаще всего о различиях, которые мы теперь называем культурным уровнем собеседников.

Современный диктор на радио или телевидении, без всяких серьезных оснований отступающий от нормативной фонетики, грамматики или лексики, может вызвать недоверие не только к себе, но и к тому, о чем он говорит, что передает. В подобных случаях огромное социальное значение языковой нормы очевидно.

Любопытно, что уже в первом русском академическом словаре (1789—1794) его авторы прибегали к таким оценкам, которые ставили почти после каждого слова: 1) «просто», т. е. в обычном употреблении, 2) «просторечие», 3) простонародное. Чаще всего, разумеется, встречалась первая оценка<sup>201</sup>. Так намечалось уже тогда стремление отечественных лексикографов широко понимать границы языковой нормы, допуская в эти границы и тем самым и в словарь не только «просторечные», но и «простонародные слова». Хотя оценки подобных слов считались обязательными, но самый факт допущения слов в словарь своеобразно «поднимал» такие оценки, ставил слова второй и третьей групп рядом со словами первой группы («просто», в обычном и широко принятом значении и употреблении). Все это было про-

<sup>200</sup> Лондон Д. Мартин Иден/Перевод С. Заяицкого. М., 1948. С. 19.

<sup>201</sup> Сорокин Ю. С. Разговорная и народная речь в «Словаре Академии Российской»//Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1949. Т. 1. С. 98—99.

грессивно для того времени, когда историческая природа языка еще не была осознана, а сравнительно-исторический метод изучения языков находился только накануне своего открытия и обоснования (1816).

Сложность и самого понятия языковой нормы, и границ ее распространения приводит к тому, что многие лингвисты нашего времени стали говорить о том, что литературный язык будто бы не имеет и не может иметь единой нормы, что она распадается на множество отдельных норм<sup>202</sup>. Но это неверно и практически, и теоретически.

Как я уже отмечал, литературный язык не мог бы существовать вообще, если он не подчинялся бы в определенную эпоху единой норме. В наше время неправомерно смешиваются такие разные понятия, как норма, с одной стороны, и ее подвижность — с другой. Смешиваются и иные понятия: литературный язык и его разные стили. Разумеется, мы говорим не совсем так, как пишем, и все же норма остается единой, хотя в разговорном стиле она оказывается шире, интонационно и стилистически подвижнее, чем в стиле письменном.

И все же у нас нет оснований говорить о множественности норм у одного и того же литературного языка, как теперь делают многие, желающие разрушить само понятие литературного языка и его огромное социальное значение. При этом односторонне отмечают лишь расхождения между разными стилями языка и не исследуется то, что эти стили сближает, что делает их стилями единого языка<sup>203</sup>.

Но и при таком целостном истолковании литературного языка трудности создания его словаря остаются очевидными.

Напомню, что немецкий словарь братьев Гримм, начатый в 1838 году, был закончен уже целым коллективом лишь в 1960 году, через много десятилетий после смерти его авторов. Капитальный многотомный этимологический «Словарь галло-романской лексики» В. Вартбурга, начало публикации которого

---

<sup>202</sup> См., например, предисловие к новому изданию «Le grand Robert». Paris, 1985.

<sup>203</sup> Опыт обоснования единства литературного языка дан в моей ранее уже упоминавшейся книге «Литературные языки и языковые стили» (М., 1967. С. 283—311).

относится еще к концу 20-х годов, до сих пор не закончен. Между тем его автор считал, что завершит свой словарь в течение пятнадцати лет<sup>204</sup>. Но Вартбург умер в 1971 году, так и не окончив своего труда. «Большой Оксфордский словарь английского языка», начавший выходить в Лондоне в 1879 году, был завершён только в 1928 году, почти через 50 лет. Объявленный еще в 1957 году «Исторический словарь испанского языка» с самого начала был рассчитан на 50 лет<sup>205</sup>. Просчет в 65 лет наблюдался и при создании национальных словарей в Нидерландах и Швеции<sup>206</sup>. Подобные примеры легко увеличить.

Разумеется, менее растянутые сроки наблюдаются при создании одностомных популярных словарей без специальных исторических и лингвистических комментариев. Но и здесь обычно требуется немалое время.

Возникает вопрос: в какой мере компьютерная техника может помочь лексикографу в его труде и сократить сроки подготовки хороших словарей? Чтобы ответить на этот вопрос, следует вновь напомнить о принципиальном различии между искусственными языками (кодами) и естественными языками человечества. В первом случае, где нет проблемы многозначности слов и грамматических категорий, компьютеры действительно могут помочь создать словарь любого искусственного языка. Во втором же случае их помощь сводится лишь к вспомогательной, главным образом статистической, работе. И это понятно, если не забывать, что любой естественный язык — это «непосредственная действительность мысли», феномен, обусловленный духовным развитием того или иного народа. Здесь все основное ре-

---

<sup>204</sup> Wartburg W. *Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung des galoromanischen Sprachschatzes.* Leipzig—Berlin, 1934. В. 3. S. 2.

<sup>205</sup> Lüdtke H. *Historia del lexico románico.* Madrid, 1974. P. 310.

<sup>206</sup> См. соответствующую таблицу в книге: Касарес Х. *Введение в современную лексикографию.* М., 1959. С. 272.

шается человеком. «Человеческий фактор» на первом месте в самой природе языка <sup>207</sup>.

Все это особенно актуально в наше время. Ведь сравнительно не так давно датский лингвист Луи Ельмслев, оказавший большое влияние на многих языковедов и у нас и за рубежом, утверждал, что не существует никаких различий между любым естественным языком, азбукой Морзе, системой морской сигнализации с помощью флагов или любой другой системой, лишь бы она имела «коммуникативную функцию» <sup>208</sup>. Само по себе это положение не было новым. Как я уже отмечал, в XVII столетии Рене Декарт (1596—1650), хотя и основывался на другом постулате, все же приравнивал «коммуникативную организацию человека» к «коммуникативной организации машины» <sup>209</sup>. К счастью, однако, для человечества, великий мыслитель прошлого в этом вопросе ошибался. Трудно даже представить, как бы духовно развивалось человечество за последние столетия, если его языковые возможности были бы ограничены возможностями «системы морской сигнализации».

И хотя Л. Ельмслев очень упростил мысль Декарта, у которого подобное отождествление сопровождалось рядом оговорок, датский лингвист настаивал на своей оригинальности. Между тем в наше время проблема компьютеризации «коммуникативных систем» требует строгой дифференциации по отношению к совершенно различным типам подобных систем, подобных коммуникаций.

Мы теперь знаем и действительно мощную силу, направленную против единства литературного языка. Эта сила — научно-техническая лексика, которая все больше и больше врывается в литературный язык, постоянно расширяя его границы. Как я уже отме-

---

<sup>207</sup> Иначе этот вопрос освещается в специальной главе «Компьютеры и словари» в кн.: *Landau S. Dictionaries: the Art and Craft of lexicography*. New York, 1984 (её автор не видит в этом плане различий между естественными и искусственными языками).

<sup>208</sup> Hjelmslev L. *Prolegomena to a theory of language*. Baltimore, 1953. P. 20—23.

<sup>209</sup> Serrurier C. *Descartes, l'homme et le penseur*. Paris, 1951. P. 62—65. Еще раньше споры на сходную тему велись уже в средние века (Штекль А. *История средневековой философии*. М., 1912. С. 263—275).

гал, эта проблема самой жизнью решается так: наиболее распространенные научно-технические слова вливаются в литературный язык, тогда как более специальные термины образуют свои словари, как бы рядом стоящие со словарями литературного языка, но не входящие в его состав. Рассортировать подобные слова и термины по двум основным группам должны помочь компьютеры<sup>210</sup>.

Целостность больших литературных языков сохраняется не только несмотря на разнообразные дифференциальные тенденции внутри этих языков, но, как это ни парадоксально, благодаря подобным тенденциям. Усиливается коммуникативная функция литературных языков, они стремятся остаться общепонятными и поэтому более стойко сопротивляются дифференциальным тенденциям, укрепляют свою целостность. Вот почему вопреки мнению многих современных лингвистов мы имеем все основания говорить о едином русском литературном языке, точно так же как мы говорим о едином английском или едином немецком языке, о едином арабском языке и т. д.

Это положение приобретает тем большее значение, чем больше и чаще утверждают теперь противоположное: отрицают целостность литературных языков. Так, например, Е. А. Земская говорит о наличии двух равноправных русских литературных языков: один из них выполняет «функцию непосредственной реакции», а другой — «функцию продолжительной реакции»<sup>211</sup>. Эта формулировка имеет в виду различие между стилем разговорной речи и стилем книжной речи. Но приводимые автором примеры показывают, что, несмотря на подобное различие, все примеры без труда укладываются в единые границы одного (а не двух) литературного языка, с учетом подвижности самих этих границ. Между тем отрицание целостности литературных языков, к сожалению

---

<sup>210</sup> См. об этом специальную главу в моей книге «Что такое развитие и совершенствование языка?» (М., 1977. С. 168—188). В настоящее время в ФРГ выходит специальный периодический журнал «Язык в век техники» («Sprache im technischen Zeitalter». Stuttgart).

<sup>211</sup> Земская Е. А. Русская разговорная речь (проспект). М., 1968. С. 9—10.

нию, часто встречается у многих исследователей нашего времени<sup>212</sup>.

Обсуждаемый вопрос имеет большое значение не только для общей теории литературных языков, но и для теории толковых словарей. Хотя создание словарей для отдельных стилей литературного языка (например, стиля разговорной речи) безусловно полезно практически и интересно теоретически, но сама возможность публикации толкового словаря для целостного литературного языка лишний раз свидетельствует о наличии такой целостности<sup>213</sup>. Впечатление же о том, что литературный язык «разрушается» или «распадается», обычно создается даже у профессионально подготовленных филологов в эпохи больших социальных потрясений, в эпохи революций.

После Великой Октябрьской революции очень многим казалось, что единство русского литературного языка разрушено, что каждый социальный класс теперь будет говорить на своем языке, не во всем понятном другим социальным классам. Уже в первых же художественных произведениях, вышедших после Октября, этот вопрос стал обсуждаться, если не прямо, то косвенно (в речи персонажей различных повестей и рассказов). Больше того. Стало казаться, что единый литературный язык «распадается» не только социально, но и профессионально<sup>214</sup>.

В 1929 году Вениамин Каверин остроумно высмеял подобное разделение: «...можно было бы провести зону между речью научных сотрудников первого разряда, второго разряда и речью аспирантов». Они мало понимали друг друга, но, казалось, говорили на одном и том же языке<sup>215</sup>. Хотя разграниче-

---

<sup>212</sup> Например: Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. М., 1976. С. 11 и сл. Еще в 20-х годах целостность литературного языка отрицали многие, в частности: Frei H. La grammaire des fautes. Paris, 1929. P. 17—25.

<sup>213</sup> Единство литературного языка как целостной системы всегда талантливо защищал А. А. Шахматов (см. об этом: Истрина Е. С. А. А. Шахматов как редактор словаря русского языка // Изв. АН СССР. Отд. литер. и языка. 1946. № 5. С. 417—418).

<sup>214</sup> Селищев А. М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926). М., 1928.

<sup>215</sup> Каверин В. Скандалист, или Вечера на Васильевском острове. Л., 1929. С. 251.



ние научных сотрудников «первого и второго разряда» по языковому признаку в наши дни может вызвать улыбку, но по существу эта проблема, чуть-чуть осложненная, сохраняет свое значение и в наши дни.

Вот только один пример. В одном из коллективных сборников, опубликованном в 70-е годы во Франции, утверждалось, что не может быть не только общего литературного языка, но и общего языка у науки, общих особенностей научного изложения. При этом ссылались на то, что у металлургов свой язык, у химиков — свой, у биологов — свой, у политических деятелей тоже свой язык<sup>216</sup>. В то же время смешивались во многом различные понятия: язык и терминология отдельных наук. Если опираться только на терминологию, то общий для каждой нации литературный язык обнаружить, разумеется, трудно. Как видим, пример В. Каверина с сотрудниками «первого и второго разряда» не так уж устарел, как это может показаться. Ведь у таких сотрудников тоже могла быть разная профессиональная специализация. Получается: сколько сотрудников, столько и языков.

В истории советского языкознания такие проблемы, как «язык и социальные классы», «язык и профессиональное членение общества» и, шире, «язык и общество», освещались различно.

До лингвистической дискуссии 1950 года некоторые филологи допускали существование «классовых языков» и тем самым отрицали единство и целостность литературного языка. После же упомянутой дискуссии большой группе советских ученых стало казаться, что всякое допущение воздействия социальных факторов на язык — это будто бы неизбежное проявление вульгарной социологии, несовместимой с подлинной наукой.

Между тем проблема «языка и общества», а следовательно, и проблема «социальных факторов, воздействующих на язык», остается важнейшей проблемой науки о языке во многих странах. Об этом свидетельствует и множество современных зарубежных журналов, специально посвященных «социологии

---

<sup>216</sup> *Langue française*. Paris, 1973. No. 17. P. 2.

языка»<sup>217</sup>. Вопрос, разумеется, не в том, чтобы сомневаться или не сомневаться в важности названных проблем (они очевидны), а в том, как ими заниматься, как, на каком материале исследовать глубокое и всестороннее взаимодействие языка и общества. И — самое главное! — с каких теоретических и методологических позиций<sup>218</sup>.

Все это весьма существенно и для лексикографии, для теории и практики словарей.

Как мы уже знаем, против целостности литературного языка обычно выступают диалектологи. И все же диалекты, хотя и осложняют понятие целостности, как правило, его не разрушают. Знарок античной культуры пишет: «Для ранней Греции характерна очень значительная дробность, никогда не доходившая, впрочем, до разрыва взаимопонимания между говорящими на разных диалектах»<sup>219</sup>. Это положение сохраняет свою силу и в последующей истории почти всех европейских литературных языков. Даже в Италии, где до сих пор существует литература на диалектах, бытует и понятие общелитературного языка. Поэтому и толковые словари этих языков могли опираться на литературные языки в их целостности, в их той или иной степени нормативности (с учетом исторической и социальной подвижности самой такой нормативности).

И лингвисту, и, в частности, лексикографу необходимо считаться с еще одной общей тенденцией, характерной для современных языков,— тенденцией к известной универсализации лексики, в особенности в сфере общепринятой научной и отчасти политической терминологии. Нетрудно догадаться, что в основе

---

<sup>217</sup> См., например: *International Journal of the Sociology of language*. Berlin — New York — Amsterdam; *The Sociolinguistics Newsletter*. University of Montana; *Language in Society*. London; *Linguistics and Philosophy*. Dordrecht—Boston.

<sup>218</sup> См. об этом главу «Противостоят ли социальные факторы факторам, имманентным в науке о языке?» в моей кн.: *Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени*. М., 1978. С. 123—164.

<sup>219</sup> Тронский И. М. *Вопросы языкового развития в античном обществе*. М., 1972. С. 9. Ср. также: Debrunner A. *Geschichte der griechischen Sprache*, Berlin, 1954. В. 2. S. 72—75.

подобной тенденции — растущая роль общения между народами, между их культурами.

Хорошо известный востоковед пишет по этому поводу: «В наше время огромная часть человечества, во всяком случае его ведущая часть, обладает общим языком. Общность языка в этом случае — одинаковость семантической системы при разных формах ее выражения»<sup>220</sup>. Разумеется, здесь могут быть и расхождения, в особенности в осмыслении многих политических терминов, и все же проблема «общего лексического фонда» у самых разных языков приобретает в наше время огромное значение, не только лингвистическое, но и культурное и политическое<sup>221</sup>.

К сожалению, сама проблема «одинаковости семантических систем при разных формах их выражения» во многих языках остается все еще почти совсем неизученной. Лексикограф, однако, обязан с нею считаться, обязан чувствовать ее дыхание при разработке многих словарных статей, многих толкований. Но и универсальные тенденции в лексике не разрушают целостности каждого литературного языка, в особенности если понимать, что даже лексико-семантические совпадения между языками обычно выражаются разными формами в разных языках. Кажалось бы то, что должно разрушить специфику каждого литературного языка (универсальные тенденции), в действительности только ярче обнаруживает подобную специфику.

Как мы уже знаем, целостность каждого литературного языка хорошо понимали выдающиеся писатели многих стран. Приведу еще несколько примеров.

Замечательный итальянский прозаик Алессандро Мандзони (1785—1873), прекрасно сознавая, как нужен Италии единый литературный язык, категорически и вполне справедливо утверждал: «Язык должен

---

<sup>220</sup> Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972. С. 476.

<sup>221</sup> Проблема расхождений в семантике политических терминов, казалось бы интернациональных, широко обсуждается в зарубежных изданиях. См., например, специальный номер журнала на эту тему: *Zeitschrift für Sozialpsychologie*. Bern—Stuttgart—Toronto. 1986. Nr. 4.

либо выступать в своей целостности, либо он не должен существовать вовсе»<sup>222</sup>.

Аналогичное стремление к установлению целостности литературного языка известно во многих странах. И выдающиеся писатели обычно усиливали подобное стремление. О важности «обработки» литературного языка проникновенно и, как всегда, взволнованно писал Н. В. Гоголь: «Читатели высшего сословия... хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует...»<sup>223</sup>. Но так не бывает. «Обрабатывать» язык, т. е. активно воздействовать на него, обязаны большие писатели. А читатели «высшего сословия» должны, наконец, понять это. Таково убеждение великого прозаика.

В прошлом веке свой государственный язык норвежцы называли *риксмол* (*riksmä*, букв. 'государственный язык'), а его весьма своеобразный вариант — *букмол* (*bokmä*, букв. 'книжный язык'). В результате довольно сложной борьбы между ними, в которой принимали участие и многие писатели, возник *ландсмол* (*landsmä*, букв. 'язык страны'), как он впервые и был назван хорошо известным писателем и филологом Иваром Осеном (1813—1896). На основе ландсмол, сознательно объединенного литературного языка, И. Осен создал тщательно продуманный «Норвежский словарь» («Norsk ordbok», 1873), имевший большой успех. Стремление к целостности литературного языка и здесь проходит через ряд десятилетий, хотя до сих пор и сталкивается с различного рода затруднениями, обусловленными прежде всего воздействием различных диалектов<sup>224</sup>.

## ПРИРОДА ЯЗЫКА И СЛОВАРИ

В филологии, как, впрочем, и почти в любой на-

---

<sup>222</sup> Manzoni A. Sritti vari. Milano, 1868. P. 80. («Una lingua è tutto, o non è»). С этой же позиции «целостности литературного языка» Манцони постоянно пересматривал текст своего наиболее известного романа — «Обрученные» (1827) (см.: Касаткин А. А. Очерки истории литературного итальянского языка. Л., 1976. С. 122—123).

<sup>223</sup> Гоголь Н. В. Мертвые души. М., 1972. С. 200.

<sup>224</sup> См. главу о «Норвежском языковом движении» в кн.: Стеблин-Каменский М. И. Спорное в лингвистике. Л., 1974. С. 80—95.

зуде, есть две большие области знаний: одна из них обращена ко всем грамотным людям, а другая — прежде всего к специалистам. Словари, как мы уже знаем, обращены ко всем людям и относятся тем самым к первой области знаний.

И все же, чтобы оценить достоинство того или иного словаря, необходимо понимать, с каких теоретических позиций он создан, как его авторы понимают природу языка. Я уже отмечал, что в наше время стало модным утверждение, будто бы трудности, возникающие при создании хороших словарей, обусловлены двусмысленной природой самих естественных языков человечества и прежде всего многозначностью их слов и их грамматических категорий. Не будь этого «явления», словари можно было бы создавать лишь с помощью компьютерной техники, почти без всякого участия человека.

Как мы уже знаем, теория двусмысленности языка возникла давно, но в наше время она получила особенно широкое распространение<sup>225</sup>.

Между тем, как я уже отмечал, действительная сложность любого развитого языка, располагающего письменностью, не имеет ничего общего с его мнимой двусмысленностью. И если видные теоретики языка в разных странах всегда стремились к его нормализации, то подобное стремление определялось самой сложностью языка, его асимметричностью, его стремительным развитием, а не его мнимой двусмысленностью. К сожалению, многие современные семиотики отождествляют нормализацию литературного языка с его упрощением<sup>226</sup>. Между тем это совершенно разные понятия: нормализация языка усиливает его выразительные (в самом широком смысле) возможности, тогда как упрощение языка их резко ослабляет. «Упрощенный язык» перестает быть языком и приближается к кодовому построению, а то и просто отождествляется с ним.

---

<sup>225</sup> Если не обращаться к средневековым схоластам, то в наше столетие ее настойчиво защищал, в частности, австрийский логик и философ Л. Витгенштейн (см.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. Русск. перевод. М., 1958. С. 104; первое издание на немецком языке было опубликовано в 1921 г.).

<sup>226</sup> См., например, статью У. Морриса и ряд более новых публикаций в кн.: Семиотика. М., 1983. С. 39, 147.

Что же касается многоаспектности и сложности любого развитого языка, имеющего письменность, то его особенности всегда рассматривались как признак его духовной силы, его огромных внутренних возможностей. Так считали, в частности, Гумбольдт и Потебня, Шухардт и Щерба, Крушевский и Сепир, Виноградов и Мейе.

Не менее важный вопрос не только для лексикографии, но и для общей теории языка — это вопрос о месте отдельного слова в языке, в процессе коммуникации, а следовательно, и в словаре. Об этом уже шла речь в первом разделе данного изложения, теперь вернемся к этому же вопросу на основе уже известного нам материала.

В наше время существуют две полярные концепции *слова*: согласно первой *слово* — одна из самых важных единиц языка и вместе с тем единиц общения, средство выражения и средство номинации человеческих мыслей и чувств, вещей и понятий. Согласно другой концепции, получившей распространение за последние три десятилетия, слово — это никому ненужная единица («никчемное понятие»), так как люди общаются будто бы не с помощью слов, а с помощью целых словесных «блоков», целой системы предложений. Как мы уже знаем, подобное противопоставление несостоятельно и теоретически (разрыв между целым и его частями) и практически (в разных типах словесных коммуникаций слову принадлежит не меньшая роль, чем предложению)<sup>227</sup>.

Само наличие словарей и прямо и косвенно подтверждает огромную роль *слова* в системе любого языка, хотя подобная роль обнаруживает себя не везде одинаково. Даже при создании тематических словарей, «словарей идей» невозможно, разумеется, обойтись без слов и без понятия о слове.

Любопытно и показательно, что в самое последнее время в защиту понятия *слово* выступают наиболее

<sup>227</sup> История вопроса дана в отличной книге: Тимофеев Л. И. Слово в стихе. Изд. 2. М., 1987. А вот свидетельство великого поэта: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких *слов*. Эти *слова* светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение» (Александр Блок) (см.: Записные книжки Ал. Блока. Л., 1930. С. 63). В стихе отдельные *слова* не могли бы «светиться как звезды», если бы их самостоятельность не существовала объективно в самом языке.

видные японские лингвисты, кладущие слово в основу своих лингвистических построений<sup>228</sup>.

Как мы уже знаем, соотношение между вещами и понятиями, с одной стороны, и словами — с другой, сколь бы ни было оно сложным, а нередко и противоречивым, существует как соотношение вполне реальное. Подобно тому как философы-материалисты критикуют понятие «вещь в себе», лингвисты-материалисты должны критиковать понятие «слово в себе», если они действительно хотят быть материалистами<sup>229</sup>. Казалось бы, очевидно, что слова не только что-то обозначают (называют), но и что-то выражают. Между тем это очевидное положение нередко в релятивистических концепциях языка объявляется неочевидным, устаревшим. Ссылка на то, что такие слова, как *русалка*, *леший* или *домовый*, ни с чем не соотносятся, ни в какой мере не опровергает важнейшего в методологическом и теоретическом планах принципа соотношения «слов и вещей», «слов и понятий». Приведенные названия, как и им подобные, оказываются вполне «реальными» в системе определенного мировоззрения или в фантазии. С соответствующим обозначением они и фигурируют в любом словаре.

Нельзя не сожалеть, что вышедший в 20-х годах в Гейдельберге международный научный журнал «Слова и вещи» («Wörter und Sachen»), организован-

<sup>228</sup> Актуальные проблемы японского языкознания. М., 1986. С. 3. (Весь сборник посвящен *слову* в его различных аспектах). Обращаясь от современности к античности, вспомним Гомера («Илиада», песнь XX, строфы 248—249, пер. Н. Гнедича):

«Гибок язык человека, речей для него избыточно  
Всяких; поле для *слов* и туда и сюда беспредельно».

<sup>229</sup> В настоящее время кантовское *Ding an sich* 'вещь в себе' А. В. Гулыга удачно переводит — «вещь сама по себе» (Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. М., 1965. С. 120). Ср. с этим знаменитую, ранее уже цитированную концовку «Курса» Соссюра («единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмотренный в самом себе и для себя»). Если даже (я уже отмечал) эта концовка не принадлежит самому Соссюру, как теперь предполагают некоторые комментаторы «Курса», то она принадлежит Ш. Балли и А. Сеше, которые сами были известными лингвистами. К тому же приведенную «концовку» и в наше время сочувственно цитируют многие (Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 269). Что же касается переводов *Ding an sich* Канта, то об этом разные суждения см. в журн.: Вопросы философии. 1987. № 8. С. 165 и сл.

ный по инициативе и при участии Г. Шухардта (1842—1927), перестал существовать вскоре после смерти этого выдающегося лингвиста<sup>230</sup>. Как бы на преждевременную смену теории «слов и вещей» пришла теория «языкового поля». Первоначально она также мыслилась как история слов в связи с историей мышления и историей культуры<sup>231</sup>. Постепенно, с годами, в теории «языкового поля» произошел односторонний сдвиг: его исследователи стали интересоваться почти исключительно отношениями между словами, забывая при этом тот культурно-исторический фон, который в значительной степени определяет подобные отношения<sup>232</sup>.

Проблема «языкового поля» превратилась в проблему «чистых отношений» между словами уже без «смыслового поля», подобно тому как проблема «слов и вещей» в свое время трансформировалась в проблему отношений слов между собой, без фона вещей и без фона понятий.

Между тем «фон вещей» и «фон понятий» имеют первостепенное значение и для теории словаря, в особенности когда речь идет о больших словарях национального значения.

Теперь на новом уровне, после обзора конкретных словарей, можно уточнить еще два вопроса: 1) как следует понимать степень полноты словаря и 2) как следует понимать роль сознательного воздействия на литературный язык и на отбор слов для словаря.

С первого взгляда кажется, что полнота любого словаря определяется только его размером: чем «толще» словарь, тем он и полнее. Разумеется, размер словаря существен. Но полнота словаря зависит не только и даже не столько от его «толщины», сколько от умения лексикографа дать качественную характеристику каждого включенного в словарь сло-

---

<sup>230</sup> Первая статья Г. Шухардта под названием «Вещи и слова» была опубликована еще в 1912 году, но в другом журнале: *Anthropos*. Heidelberg. B. 7. S. 827—839.

<sup>231</sup> О чем свидетельствует и название наиболее значительной и интересной монографии на эту тему: *Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes*. Heidelberg, 1931.

<sup>232</sup> Библиографический обзор до начала 70-х годов дан в книге: *Hoberg R. Die Lehre von sprachlichen Feld*. Düsseldorf, 1973.



ва. Здесь количество действительно переходит в качество. Если, например, при пояснении существительного *дерево* учитывается не только чисто ботаническое его значение («многолетнее растение с твердым стволом»), но и переносное («древесина» — «мебель красного *дерева*»), то сразу же освещаются прямое и переносное значения и прилагательного *деревянный* (не только «сделанный из дерева», но и «лишенный естественной подвижности» — «*деревянное* выражение лица»). Если лексикограф при этом сумеет показать связь и взаимодействие первого процесса со вторым, то его словарь насыщается необходимой и полезной информацией без прямого и непосредственного увеличения размеров самого словаря.

Разумеется, здесь многое зависит и от количества иллюстраций, наличия или полного отсутствия литературных примеров. Напомню, что четырехтомный словарь Даля содержит около двухсот тысяч слов, а «Словарь современного русского литературного языка» (1948—1965) в семнадцати томах — только около ста тридцати тысяч слов. Вот и сравните: в четырех томах оказалось больше слов, чем в семнадцати томах. Необходимо считаться и с разными задачами обоих словарей.

И все же никакой словарь, как мы уже знаем, не может быть «полным» в буквальном смысле. Он может быть большим, тщательно выполненным, ценным, необходимым, но он не может быть «полным» в прямом значении этого слова. Между тем определение «полный» по отношению к словарю часто встречалось в прошлом и еще в начале нынешнего столетия, в особенности применительно к различным двуязычным словарям<sup>233</sup>. Образованный лексикограф обязан понимать все огромное многообразие языка. В итальянских диалектах бытует до трех тысяч названий для рыб и моллюсков — названий, лишь некоторые из которых проникают в литературный язык<sup>234</sup>.

<sup>233</sup> См., например: Татищев Д. Полный французско-русский словарь. М., 1816; Макаров Н. П. Полный русско-французский словарь. Изд. 9. Спб., 1900.

<sup>234</sup> Сообщение диалектолога К. Баттисти, опубликованное в журн.: Romance Philology. Berkeley and Los Angeles. 1950. No. 1. P. 25.

Не менее важным и все еще, как отмечалось, малоизученным остается вопрос о путях и средствах воздействия людей, особенно их выдающихся представителей, на литературный язык и на отбор слов для словаря.

Имея в виду язык, К. Маркс и Ф. Энгельс в совместно созданной ими книге — «Немецкой идеологии» — писали: «Само собой разумеется, что в свое время индивиды целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода»<sup>235</sup>. А несколько позднее, в 1868 году, в письме к Ф. Энгельсу К. Маркс обобщил: «...культура,— если она развивается стихийно, а не *направляется сознательно* ... оставляет после себя пустыню...»<sup>236</sup>.

В наших современных спорах о соотношении сознательных и бессознательных факторов в развитии литературных языков следует помнить об этих важнейших обобщениях. Человеческая природа языка не может оставлять людей в стороне уже в силу самой своей человечности. Другой вопрос, какими путями осуществляется воздействие людей на литературный язык. Подобные пути, как мы видели, многообразны. Но следует решительно не согласиться с широко распространенной в наше время концепцией, согласно которой воздействие людей на литературный язык будто бы превращает его в нечто «искусственное и сделанное». На этом основании литературные языки сближаются, а иногда даже и отождествляются с кодами. Между тем природа тех и других глубоко различна: литературные языки, как правило, располагают огромными и разнообразными ресурсами, тогда как коды, искусственные построения, однозначны и прямолинейны. Они совершенно лишены того «духовного начала», которое питает литературные языки.

Глубоко ошибочное представление о литературном языке как о «явлении искусственном», как об «оранжерейном растении» возникло давно. Оно встречается уже у младограмматиков<sup>237</sup>, хотя тогда мо-

---

<sup>235</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 427.

<sup>236</sup> Там же. Т. 32. С. 45.

<sup>237</sup> См., например: Томсон А. Общее языкознание. Изд. 2. Одесса, 1910. С. 4.

тивировалось не так прямолинейно, как у многих наших современников. Младограмматики резко отделяли лингвистику от поэтики и социологии, тем самым исключая всякую возможность воздействия людей на язык. Многие же наши современники отождествляют литературные языки с искусственно сделанными «коммуникативными стандартами», но в конечном счете приходят к тем же заключениям, которые были известны и младограмматикам<sup>238</sup>.

У нас в стране еще в начале 30-х годов понятие литературного языка отождествлял с понятием стандартного языка Е. Д. Поливанов<sup>239</sup>. Но тогда же и немного позднее против подобного отождествления выступали многие выдающиеся филологи — В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, Г. О. Винокур, Д. Н. Ушаков, В. М. Жирмунский, Л. И. Тимофеев.

Задолго до появления «теории стандарта» ее проникновенно, ярко и талантливо предвидел Вильгельм Гумбольдт: «Чтобы язык был обработанным, оставаясь в то же время народным, надобно, чтобы он ... непрерывно переходил в руки писателей и грамматиков, а от них в уста народа»<sup>240</sup>. В этом немного старомодном, но точном переводе текста мыслителя и великого филолога прекрасно сформулировано взаимодействие литературного языка с его же народными основами.

Как мы видели, современная лексикография располагает самыми различными типами словарей. Вопрос об их разграничении тоже не всегда решается просто. Если разграничение толковых и энциклопедических словарей, как мы видели, сравнительно очевидно, то внутри собственно лингвистических словарей эта очевидность явно убывает. В толковых словарях не только иначе располагается материал, чем в словарях типа «от идей к словам», но и иначе комментируется. Особые задачи возникают перед сло-

---

<sup>238</sup> См.: Брозович Д. Славянские стандартные языки и сравнительный метод//Вопросы языкознания. 1967. № 1.

<sup>239</sup> Поливанов Е. За марксистское языкознание. М., 1931. С. 119.

<sup>240</sup> Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода/Перевод П. Билярского. Спб., 1859. С. 186.

варями «чисто лингвистическими» — грамматическими, фразеологическими, фонетическими<sup>241</sup>.

Перед лексикографией нашего времени стоит общая большая задача: определить, что может и что должен делать специалист при создании больших, общенационального значения словарей и как и в чем могут им помочь электронно-вычислительные машины. До настоящего времени очевидно, что подборка примеров и их весьма предварительная классификация может осуществляться машинами. Во всем остальном требуется человек, его подготовка, отличное знание языка во всех его стилях и разновидностях, наконец, то самое «языковое чутье», которое всегда высоко ценили выдающиеся филологи и против которого в наши дни выступают без всяких серьезных оснований все те, кто сам лишен и подобного чутья, и тщательной филологической подготовки<sup>242</sup>.

Только с большим уважением и благодарностью можно относиться к выдающимся специалистам, которые в течение многих лет, а то и всю жизнь работали над капитальными словарями общенационального значения. Как мы уже знаем, такими были у нас В. Даль, у немцев братья Гримм, у французов Э. Литтре, а позднее П. Робер, у американцев Н. Вебстер (Уэбстер), у швейцарцев В. Вартбург и другие. Многие народы имеют своих знаменитых лексикографов, имена которых стали прочно ассоциироваться с национальной культурой народа.

Следует помнить и о философском значении хороших словарей, если они создаются не только с отличным знанием языка, но и с прогрессивных мировоззренческих позиций. Ведь толкование слов, даже самых обыкновенных, — это не только лингвистическая, но и мировоззренческая проблема. Я уже напоминал суждение Л. В. Щербы о том, что хорошие

---

<sup>241</sup> Ранее уже шла речь о наших фразеологических двуязычных словарях, среди которых имеются и отличные. См. также: Lombard A. et Gâdei B. Dictionnaire morphologique de la langue roumaine. Lund, 1981.

<sup>242</sup> О возможностях машин в этом плане см.: Пиотровский Р. Г. Лингвистические уроки машинного перевода // Вопросы языкознания. 1985. № 4. С. 18—27 и статью американского математика И. Бар-Хиллела // Там же. 1969. № 4. С. 113—120.

словари не составляются, а творчески создаются, творчески продумываются.

*Ordo et connexio rerum* 'порядок и связь вещей' должны соотноситься прямо или косвенно, синхронически или диахронически с *ordo et connexio idearum* 'порядком и связью идей'. Показать справедливость этого важнейшего методологического принципа — одна из серьезных задач материалистической лексикографии. Каждому создателю хорошего словаря нужно разобраться в том, как люди с помощью отдельных слов, их сочетаний, их взаимодействий в системе различных предложений передают мысли и чувства людей. Англичанин Джон Локк (1632—1704) любил напоминать о принципе, согласно которому «нет ничего в разуме, что предварительно не побывало бы в чувстве, в чувственном восприятии»<sup>243</sup>. Подобное единство следует показать и в словаре. И это должен понимать не только его создатель, но и каждый, кто раскрывает словарь для пополнения своих знаний о словах и о вещах.

Слова, лишенные всякого значения, всякого чувства, всякого намека на значение или на чувство, превращаются в слова-пустышки. Об этом напоминал всем нам еще Шекспир в одной из знаменитых сцен «Гамлета» (акт 2, сцена 2). На вопрос Полония «Что вы читаете, принц?» Гамлет отвечает: «Слова, слова, слова», желая тем самым сказать, что он не верит людям и что в состоянии, в котором он, Гамлет, находится, слова лишаются для него какого бы то ни было смысла, превращаются в слова, ничего не означающие, перестающие быть подлинными словами.

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В предшествующих разделах была сделана попытка показать, какое общенациональное значение имеет публикация хороших словарей, и прежде всего словарей толковых. Все сказанное теперь может быть обобщено.

<sup>243</sup> История приведенного афоризма (*Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*) освещена в кн.: Виндельбанд В. История новой философии. Спб., 1908. Т. 1. С. 395—396.

На мой взгляд, всякий серьезный лексикограф обязан учитывать и понимать, что 1) литературный язык — это вполне целостное понятие, хотя и подверженное дифференциальным тенденциям, 2) слово — одно из центральных понятий не только лексики, но и языка в целом, несмотря на постоянные несостоятельные нападки на это понятие, 3) толковые словари — не только источник изучения слов, но в значительной степени и источник наших знаний (ср. ранее приведенное ленинское суждение о словарях: «для пользования (и учения) всех»), 4) словари прямо связаны с выработкой литературной нормы языка в каждую эпоху — нормы, имеющей общенациональное значение, 5) следует признать несостоятельным взгляд на литературный язык как на искусственное образование, 6) литературные языки, будучи, как правило, вполне объективным образованием, вместе с тем подвержены воздействию людей и создаваемых ими словарей, 7) многозначность большинства слов естественных языков человечества — явление вполне закономерное и необходимое, не имеющее ничего общего с понятием о так называемой «двусмысленности языка», 8) совершенствование словарей не должно приводить к осложнению их структуры (забота о читателях), 9) компьютеры, помогающие созданию словарей, должны подчинять машину нуждам людей, а не людей — нуждам машины, как то предполагают некоторые авторы, 10) следует помнить, какую выдающуюся роль сыграли словари в процессе создания науки и литературы на родных, а позднее национальных языках, 11) задачи, возникающие перед новыми словарями, непосредственно связаны со стремительным ростом науки и культуры нашей современной эпохи.

В свое время Гоголь в прекрасных заметках о Пушкине отметил, что в языке поэта, «как будто в лексиконе, заключено все богатство, сила и гибкость нашего языка»<sup>244</sup>. Гоголь нисколько не сомневался, что лексикон (словарь) должен показать все перечисленные особенности языка: его богатство, силу и гибкость. Но чтобы создать такой словарь, необходимо постоянно над ним работать, постоянно его со-

<sup>244</sup> Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. 1947—1952. Т. 8. С. 50—51.

вершенствовать не только от издания к изданию, но и путем публикации все новых и новых словарей.

Весьма существенны исходные теоретические позиции создателей словарей. Необходимо строго и последовательно различать задачи, стоящие перед создателями словарей естественных языков человечества, и задачи, возникающие при составлении словарей искусственных языков (кодов). Последние тоже могут быть полезными для определенных, главным образом технических, целей. Но первые имеют дело с языком как «непосредственной действительностью мысли», с языком как выражением духовного мира людей, тогда как вторые анализируют язык лишь как систему условных знаков, выполняющих определенные, ситуативно-ограниченные коммуникативные цели<sup>245</sup>.

Подобно тому как «переброшенные реки» губят течение естественных рек и ни в какой мере не могут их «заменить», так и искусственные языки не могут «заменить» естественных языков человечества. И хотя приведенное сравнение, как и большинство сравнений, условно, оно, на мой взгляд, хорошо показывает глубокое различие между естественными и искусственными языками. Искусственные языки, однако, могут быть полезными, тогда как «переброшенные реки» только губят природу, а следовательно, и человека.

Все это нисколько не противоречит тому, что люди, и прежде всего их выдающиеся представители в литературе, науке и технике, имеют возможность воздействовать на литературные языки, способствовать их развитию и совершенствованию. При этом нисколько не искажается сама природа естественных языков. Продолжая приведенное сравнение, допустимо утверждать, что люди, оберегая течение естественных рек нашей Земли, одновременно могут их очищать, углублять, не допускать их загрязнения. То же следует сказать и о наших языках.

---

<sup>245</sup> Один из наших широко образованных и ярких филологов замечает: «...так называемое «кодовое» понимание стиля — это смерть для нашей науки» (Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977. С. 434). Я думаю, что и кодовое истолкование природы естественных языков — это тоже для них смерть.

Сближение, а то и прямое отождествление естественных языков с кодами, приводит определенную группу ученых к выводу, что наука о языке — это чисто абстрактная наука, имеющая дело не с конкретным и многообразным материалом, а лишь с определенными схемами и моделями<sup>246</sup>. Таков результат данного отождествления. Между тем наука о языке, сохраняя свою теоретическую сущность, не может жить без опоры на огромный конкретный материал самых разнообразных и многообразных языков народов мира.

Очень много пролито чернил в спорах о синхронии и диахронии в процессе развития языков. Дело дошло до того, что даже такой видный специалист, как швейцарский лингвист Шарль Балли, стал утверждать, что «слишком глубокие лингвистические познания мешают проникновению в дух языка»<sup>247</sup>. Своим утверждением Балли хотел обратить внимание на то, что функционирование живого языка в каждую эпоху несколько не зависит от его прошлого состояния, каким бы оно ни было, и что современные значения слов и синтаксических конструкций во многих случаях оказываются иными, чем они были раньше.

Балли прав в одном: функционирование языка в каждую эпоху действительно определяется состоянием языка в эту же эпоху, а не в другую. Поэтому синхрония и диахрония различаются. Говорящие на том или ином языке люди действительно и, как правило, ничего не знают о прошлом состоянии своего родного языка. Приписав же современному слову или современной конструкции их старые значения, говорящие или пишущие люди могут и не понять друг друга (у Балли: это «мешает проникновению в дух языка»).

Но Балли неправ в другом: если разграничение синхронии и диахронии действительно необходимо, то

---

<sup>246</sup> См., например, Katz J. Language and other abstract objects. New York, 1981. P. 10. В последнее время принцип «абстрактности науки о языке» доведен до крайности в некоторых публикациях, например: Kuroda S. A formal theory of speech acts//Linguistics and Philosophy. Dordrecht—Boston, 1986. No. 4. P. 495—524.

<sup>247</sup> Балли Ш. Французская стилистика. М., 1961. С. 101.



это отнюдь не означает, что фон диахронии затемняет фон синхронии, искажает его, смешивает «все карты», как получается у швейцарского лингвиста, развивающего здесь идеи Ф. Соссюра. Напротив. Именно в свете диахронии ярче освещается фон синхронии, осмысляются не только ее системные закономерности, но и особенности антисистемные.

Часто возражают: все это нужно знать только лингвистам, но совершенно не нужно «просто» говорящим или «просто» пишущим людям. Но это совсем не так. Если «просто» говорящие или «просто» пишущие люди хотят говорить и писать действительно хорошо, то им совершенно необходимо знать и правила языка и исключения из этих правил. Смысл же и тех и других обычно раскрывается и осмысляется на фоне той самой диахронии, значение которой для современного языка до сих пор отрицается даже известными специалистами. Между тем само разграничение синхронии и диахронии должно способствовать активному отношению говорящих людей к языку, осмыслению правил и законов его же функционирования<sup>248</sup>.

Все это весьма существенно и для теории словаря современного языка, который, опираясь на актуальные значения слов и словосочетаний, обязан отмечать и устаревшие, и чуть-чуть устаревшие значения, и только что принятые новые слова или новые значения старых слов. А это уже дыхание диахронии в современном языке, в самой синхронии.

Для теории словаря, как и для общей теории языка, весьма важным представляется понятие о целостности языка. Об этом уже шла речь

---

<sup>248</sup> Подробнее в моей книге «Человек и его язык». Изд. 2. (М., 1976. С. 253—290). К сожалению, важнейшие проблемы «язык и культура», «язык и человек», «язык в современном мире», «языки и взаимопонимание между народами» — проблемы, которые не так давно успешно разрабатывались у нас в стране, за последние годы отошли на задний план и стали считаться «традиционными». Во всяком случае, в настоящее время у нас очень мало серьезных монографий на эти темы. Между тем в зарубежных странах имеется множество одних только специальных социолингвистических журналов, систематически разрабатывающих со своих теоретических позиций перечисленные проблемы.

в предшествующих разделах. Это же необходимо отметить и в заключительных строках, тем более что отрицание целостности языка широко наблюдается и у советских и у зарубежных лингвистов. Соотношение между разговорным и письменным стилями языка теперь чаще всего рассматривается как соотношение между разными языками, подобно тому как и соотношение между «обычным языком» и «языком науки» — как соотношение между разными языками<sup>249</sup>. От понятия целостности языка ничего, собственно, и не остается.

Я стремился показать, что понятие целостности языка, несмотря на дифференциальные тенденции внутри самой этой целостности и даже вопреки ей, остается важнейшим понятием, без которого не может существовать наука о языке. Это же понятие должно быть и в основе не только теории, но и практики создания словаря, который обязан «подать» своим читателям язык не по кусочкам (подобная задача совсем иных, дифференциальных словарей), а как нечто целостное и единое.

Свыше ста пятидесяти лет тому назад, в 1832 году, великий французский писатель Оноре де Бальзак восклицал: «Какая прекрасная книга когда-нибудь будет написана о жизни и путешествии слов! Для этого, однако, потребуется целая большая и новая наука»<sup>250</sup>. После Бальзака кое-что сделано в этом направлении и в отечественной и в мировой науке. Но главную работу еще предстоит совершить.

И здесь помощь хороших, тщательно продуманных и, по возможности, полных словарей окажется совершенно необходимой.

---

<sup>249</sup> См., например, кроме ранее названных: Harweg R. Language is not just Speech//Semiotica. 1986. No 3/4. P. 290—300. Иная точка зрения представлена: Stankiewicz E. The Slavic languages: unity in diversity. Berlin, 1986.

<sup>250</sup> Balzac H. de. Louis Lambert. Paris, 1900. P. 45.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

**А. А. Брагина**

## КРАТКАЯ СПРАВКА О СЛОВАРЯХ

### РУССКОГО ЯЗЫКА

Словарь — это собрание слов и их истолкование. Отсюда название словарей, в которых объясняются (толкуются) слова, — толковые. Вместе с толкованием сообщаются сведения о написании слова, его произношении, месте ударения, грамматической форме и стилистических особенностях. Отмечаются фразеологические сочетания, в которых употребляется данное слово. Приводятся иллюстрации для истолкования слов.

Первый русский словарь, запечатлевший попытку истолковать непонятные слова в древнерусских письменных памятниках, — рукописный, относится к концу XIII в. Из всех последующих словарей выделяется «Лексикон славеноросский, имен толкование» (1627 г., 6982 слова). Составил его украинский ученый Памва Берында. Источником для словаря были письменные памятники и живая речь того времени.

Существует два типа толковых словарей: 1) словарь «сокровищница» (тезаурус), который отражает с наибольшей полнотой словарный состав национального языка; ненормативный, т. е. не дающий каких-либо правил употребления слов; 2) словарь нормативный, который включает лексику литературного языка и предписывает определенную норму употребления слов.

К первому типу словарей относится знаменитый «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля в 4-х томах (1-е изд. 1863—1866 гг., последнее факсимильное издание 1981—1982 гг.). В словаре свыше 200 тыс. слов (из литературного и разговорного языка, включая говоры середины XIX в.). Ко второму типу — академические словари: «Словарь Академии Российской» (1790—1794 гг., 43 257 слов); «Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный» (1806—1822 гг., 51 388 слов); «Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный вторым (словесным) отделением Академии наук» (1847 г., 114 749 слов). Популярность словарей отразилась в известных строках из «Евгения Онегина» Пушкина: «А вижу я, винюсь пред вами, Что уж и так мой бедный слог Пестреть гораздо меньше мог. Иноплеменными словами, Хоть и заглядывал я встарь В Академический словарь». От словаря к словарю растет внимание к живой речи, шире и регулярнее разрабатываются стилевые пометы. Поэтому рождение словаря Даля, с одной стороны, и академических нормативных — с другой, было подготовлено и теорией, и практикой всей предшествующей словарной работы.

Первый нормативный словарь советского времени «Толковый словарь русского языка», под ред. Д. Н. Ушакова, в 4-х томах (1934—1940 гг., 85 289 слов; 2-е изд. фототипическое 1947—

1948 г.). Подготовка этого словаря была предпринята по предложению В. И. Ленина. Нормативными словарями являются «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах (1948—1965 г., 120 480 слов); «Словарь русского языка» в 4-х томах (1-е изд. 1957—1961 г., 82 159 слов; 2-е изд. 1981—1984 г., более 90 000 слов; 3-е — 1985—1988 г., стереотип.). Два словаря — 17-томный «Большой Академический Словарь» — БАС и 4-томный «Малый Академический словарь» — МАС — сыграли заметную роль в изучении русского языка.

В 1949 г. вышел однотомный «Словарь русского языка» С. И. Ожегова. Первое издание (50 100 слов) стало основой для всех последующих изданий. Начиная с 9-го (посмертного, 1972 г., 57 000 слов) словарь выходит под редакцией Н. Ю. Шведовой. Словарь имеет большое значение для развития культуры речи. Он популярен во всех наших республиках и за рубежом.

Есть еще один тип толковых словарей — диалектные. Эти словари посвящены словарному составу диалектов (диалект от греч. «разговор, говор, наречие»). Отметим словари, включающие лексику всех диалектов русского языка. Это уже упомянутый «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, «Словарь русских народных говоров», гл. ред. Ф. П. Филин, за 1965—1978 г. вышло 14 томов, издание продолжается; из региональных словарей, посвященных одному диалекту, назовем «Донской словарь» А. В. Миртова (1929 г.).

Большое значение в развитии речи и чувства нормы имеют учебные (школьные) толковые словари. Целый ряд словарей посвящен культуре нашей речи: (Л. И. Скворцов «Правильно ли мы говорим по-русски?» Справочное пособие по произношению, ударению и словоупотреблению, 1980 г.; «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка». Словарь-справочник, под ред. К. С. Горбачевича, 1974 г.), орфоэпии («правильно произношу») и орфографии («правильно пишу»): «Орфоэпический словарь русского языка». Произношение, ударение, грамматические формы, под ред. Р. И. Аванесова, 1983 г.; «Орфографический словарь русского языка», под ред. С. Г. Бархударова, И. Ф. Протченко, Л. И. Скворцова, 1983 г.; «Словарь ударений для работников радио и телевидения», под ред. Д. Э. Розенталя, 6-е изд. 1985 г.

Особый тип словаря — словарь исторический, в котором объясняются слова, взятые из памятников письменности той или иной исторической эпохи. Наиболее известен труд И. И. Срезневского «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам» (в 3-х томах, 1893—1912 г., 2-е изд. 1958 г., около 120 000 слов из памятников XI—XIV вв.). С 1975 г. стал выходить «Словарь русского языка XI—XVII веков». Такие словари помогают восстановить «языковую картину», в которой отражается культура минувших времен.

Этимологические словари посвящены происхождению слов: М. Фасмер «Этимологический словарь русского языка» в 4-х томах, 1964—1973 г. (русский перевод и дополнение О. Н. Трубачева); Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская «Краткий этимологический словарь» (1-е изд. 1961 г., более 50 000 слов; 3-е изд. испр. и дополи. 1975 г.). История развития слова, его значения и осмысления с особой наглядностью прослеживается в собственных именах, фамилиях, географических назва-

ниях, в основе которых обычно — имена нарицательные: *Алексей* — греч. «защитник», *Георгий* — греч. «земледелец». См.: Н. А. Петровский «Словарь русских личных имен» 1966 г.

Наш язык под влиянием жизни меняется, развивается. Одни слова — историзмы, архаизмы — уходят, их сменяют новые слова и новые значения старых слов. Постоянное движение слов, обновление словарного состава, его пополнение отмечает словарь «Новые слова и значения» (1-й вып. под ред. Н. З. Котеловой и Ю. С. Сорокина 1971 г.; 2-й вып. 1983 г., как и все последующие под ред. Н. З. Котеловой).

Понять структуру старых и новых слов помогают словообразовательные словари: З. А. Потиха «Строение русского слова», 1981 г., А. Н. Тихонов «Школьный словообразовательный словарь русского языка», 1978 г. Новые наименования могут быть представлены словосочетаниями и их краткими вариантами — аббревиатурами (от греч. «краткий»): Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы — МАПРЯЛ. Напр., «Словарь сокращений русского языка», под ред. Б. Ф. Корицкого, 1963 г., 12 500 сокращений.

В результате языковых контактов заимствуются слова из русского языка (*соболь, квас, декабрист, спутник, перестройка*), входят в русский язык слова из разных языков. Пояснения к заимствованным словам дают словари иностранных слов. В подобные словари входят и слова, родившиеся в русском языке, но из заимствованного материала — чаще всего греческого или латинского (*космонавт, космодром*).

Заимствованное слово подчиняется не только правилам произношения заимствующего языка, но часто меняет в той или иной степени свое значение (расширяет его или сужает). Возникает проблема «ложных друзей переводчика», которым и посвящаются одноименные словари.

Особенности значения слов выявляют словари синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Соответствующие словари помогают найти нужное слово для выражения того или иного оттенка мысли или чувства. Значения слов определяют и их возможную сочетаемость, поэтому создан «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка», под ред. П. Н. Денисова и В. В. Морковкина, 1978 г., около 2 500 описаний.

В языке в разные исторические эпохи сложились и складываются постоянные словосочетания — фразеологизмы. Их фиксируют и толкуют специальные фразеологические словари. Фразеологизмы, принадлежащие определенному автору, называют крылатыми словами. См.: Н. С. и М. Г. Ашукины «Крылатые слова», 4-е изд. дополн. 1987 г. Крылатые слова в своем большинстве интернациональны, употребляются в разных языках без перевода. Их толкование рассматривает «Словарь иносказательных выражений и слов» в 2-х томах, 2-е изд., 1981—1987 гг.

Своеобразным памятником эпохи является язык произведений большого писателя — «Словарь языка Пушкина» пока у нас единственный (отв. ред. В. В. Виноградов, в 4-х томах, 1956—1961 гг.). Особое значение будет иметь подготавливаемый словарь языка В. И. Ленина (Институт русск. языка АН СССР).

Каждый словарь вносит свою лепту в нашу национальную культуру и охраняет ее как наше общее достояние.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**Будагов Рубен Александрович**

**ТОЛКОВЫЕ СЛОВАРИ  
В НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ  
НАРОДОВ**

Зав. редакцией *М. Д. Потапова*  
Редактор *В. Г. Щербакова*  
Обложка художника *И. С. Клейнарда*  
Художественный редактор *Ю. М. Добрянская*  
Технический редактор *К. С. Чистякова*  
Корректоры *Л. А. Айдарбекова, М. А. Мерецкова*

ИБ № 3315

Сдано в набор 05.04.88. Подписано в печать 02.02.89. Л-14021.  
Формат 84×108/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура литературная.  
Высокая печать. Усл. печ. л. 7,98. Уч.-изд. л. 8,37.  
Тираж 14 800 экз. Заказ 380. Изд. № 528. Цена 55 коп.

Ордена «Знак Почета»  
издательство Московского университета.  
103009, Москва, ул. Герцена, 5/7.  
Типография ордена «Знак Почета» изд-ва МГУ.  
119899, Москва, Ленинские горы